

© 2000 г. Ю.В. МОНИЧ

АМБИВАЛЕНТНЫЕ ФУНКЦИИ РИТУАЛА В ЭВОЛЮЦИИ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ*

0.

В предлагаемой статье производится попытка обосновать ряд положений, прямо или косвенно связанных с проблемами становления языковой системы на базе предшествующих ей в эволюционном плане систем коммуникации.

По ряду объективных причин, раскрываемых несколько ниже, в качестве основного опорного материала в данном исследовании выступает содержательная сторона знака, тогда как отдельные формальные его характеристики только в редких случаях могут быть привлечены для анализа, и то лишь в роли вспомогательного материала весьма гипотетического характера.

Таким образом, в центре внимания здесь оказываются такие явления, как семантические универсалии, семантические изменения и семантическая эволюция в целом. Последнюю, по нашему мнению, было бы целесообразно определить как ряд структурных трансформаций в содержательной сфере языковой системы, обусловленных качественными изменениями условий существования, – и прежде всего – усложнением социальной структуры человеческого сообщества.

Хотя предлагаемое исследование не может быть названо собственно этимологическим, все же, поскольку нам регулярно приходится взаимодействовать с семантическими реконструкциями праиндоевропейских этимонов, проблематика этимологического анализа выдвигается здесь на одно из центральных мест.

В ситуации, сложившейся в данной области языкознания, можно наблюдать значительный перекося в характере исследования сфер означающего и означаемого: в то время как формальный анализ осуществляется в соответствии с жесткими критериями и полученные результаты отличаются высокой степенью точности, в семантическом анализе исследователь чувствует себя несопоставимо вольнее, вследствие чего очень часто появляется множество несогласующихся или взаимоисключающих этимологий, что, разумеется, далеко не лучшим образом сказывается на целостности и устойчивости картин языкового прошлого. В.И. Абаев отмечает: «Семантические аспекты этимологии весьма сложны и с трудом поддаются регламентации. Никакого "закона", который можно было бы сопоставить со звуковым законом, в семантическом развитии слов установить не удастся. Здесь приходится опираться не на необходимость, а на возможность в рамках здравого смысла» [Абаев 1986: 20].

Одним из пиков актуальности затрагиваемой проблематики может быть названа точка столкновения двух противоположных потоков языкового развития, в русле которых рождаются явления синонимии и омонимии. И особенную остроту приобретает данная проблематика на уровне праязыковых реконструкций: в частности, по данным "Indogermanisches etymologisches Wörterbuch" Ю. Покорного [Pokorny 1959], более трети всего состава праиндоевропейского словаря находится в отношениях омонимии, а некоторые наиболее распространенные значения типа 'бить', 'вертеть' и

* Работа выполнена при финансовой поддержке грантом РАН для молодых ученых.

т.п. выражаются многими десятками различных форм. Такое положение дел, казалось бы, вступает в очевидное противоречие с одной из самых фундаментальных функций языка – хранить и передавать информацию максимально экономичным способом. Однако отмеченное противоречие, как это вытекает из рассматриваемой ниже специфики функционирования ритуального знака, является только кажущимся, тогда как в действительности именно сходные по наборам значений, но формально различающиеся знаки сыграли, на наш взгляд, важнейшую роль в становлении первичной языковой системы, – и именно благодаря их способности передавать самую актуальную информацию наиболее экономичным путем. Это мы и попытаемся обосновать в дальнейшем изложении, руководствуясь следующими предпосылками, которые с позиции эволюционного мышления представляются вполне уместными для специфики предлагаемого здесь исследования.

Во-первых, мы исходим из того, что звуковой язык не мог возникнуть независимо от других средств общения. Он зародился в недрах более древней знаковой системы, которая обслуживала все насущные коммуникативные потребности человеческого предка. В дальнейшем язык постепенно отвоевывал себе все большее и большее жизненное пространство и, в конечном счете, выдвинулся на передний план.

Во-вторых, как это отчасти вытекает из первой предпосылки, первичные слова в период своего возникновения не создавали для себя какие-либо особые значимые зоны, но наследовали их от своих предшественников – невербальных и/или довербальных знаков, и только в последующем развитии приобретали способность трансформировать исходную семантику в соответствии со своей системной спецификой.

В-третьих, подобно тому, как в сравнительно-историческом языкознании подвергаются сравнительному анализу различные хронологические пласты, соответствующие различным ступеням языковой эволюции, предметом подобного анализа может стать и сама языковая система, сопоставляемая с теми системами, на базе которых она выросла.

Учитывая существенные отличия в способах выражения, практикуемых в коммуникативных системах, сформировавшихся на различных ступенях эволюционного процесса, в качестве базового материала для сопоставительного анализа целесообразнее избрать те содержательные аспекты коммуникативных актов, выражение которых всегда остается обязательным для любой сложившейся естественным путем знаковой системы.

1. РИТУАЛИЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ. ПРОТОТИП ЗНАКОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В любом естественном языке имеются определенные группы слов, которые, с точки зрения действующих в языковой системе законов, отличаются в той или иной мере "отклоняющимся" поведением. Не раз уже отмечалось, например, что некоторые категории слов весьма неохотно подчиняются действию фонетических законов [Абаев 1986: 16]. Этимологи зачастую склонны приписывать подобным словам оноματοпоетическое происхождение или же объяснять наблюдающиеся в них аномалии особой экспрессией. Однако фонетические отклонения у таких "незаконно-послушных граждан языкового государства" хотя и не редки, но вовсе не обязательны, и – тем более – их наличие обычно незаметно для непосвященного наблюдателя. Более явные отклонения от нормы чаще всего лежат в других измерениях, с которыми приходится сталкиваться прежде всего лексикографам, когда они вынуждены по стилистическим соображениям маркировать соответствующие слова или отдельные их значения специальными пометами типа "просторечи.", "вульгарн." и т.п., или же искать критерии для установления границ между омонимией и многозначностью. Однако одну категорию слов, – хотя и представленную всего лишь несколькими производящими основами, но обладающую поистине уникальной

гибкостью в словообразовании и не менее уникальной способностью соотноситься с самыми различными аспектами реальности, – исследователи предпочитают громко не обсуждать. Речь, как можно догадаться, идет об obscene лексике. Оговоримся, что мы также не намерены каким-либо образом оперировать ею. Нас интересуют только причины ее словообразовательной и семантико-референтной плодотворности. Такой интерес обуславливается тем, что динамика развития отмеченных явлений, рассматриваемая под определенным углом зрения, в значительной мере изоморфна конфигурациям некоторых процессов, обнаруживающих себя на уровне праязыковых реконструкций. Поэтому, как нам кажется, есть основания говорить о том, что подобные явления свойственны начальным стадиям языкового развития.

Отмеченную словообразовательную и семантико-референтную "агрессивность" obscene лексики во многом можно было бы объяснить тем, что она непосредственно апеллирует к наиболее эмоционально-нагруженным реалиям, ассоциируемым с личным оскорблением или с нарушением социального "табу", т.е. с разрушением культурно-обусловленных перегородок. Вероятно, именно такая эмоциональная база становится катализатором словообразовательной и семантической деривации, распространяющейся на реалии, которые каким-либо образом попадают в соответствующий аффективный фокус¹.

По степени наличия эмоциональных коннотаций можно было бы градуировать весь лексический состав, и тогда стало бы очевидно, что отмеченные способности в какой-то мере сохраняются и у ряда вполне нейтральных слов. Например, *рвать, драить, дергать* свободно реализуют значения 'бежать', 'убегать'; *пороть, гнать, загнать, нести* и т.п. могут употребляться для обозначения неадекватных речевых актов; *мочить* способно проявлять себя в значениях 'бить', 'убивать' и т.д. В целом же нетрудно заметить, что интенсивность использования эмоционально-окрашенных и табуированных слов возрастает по мере приближения к сфере жизненных ситуаций, которые отличаются ярко выраженной, ничем не замаскированной конфликтной напряженностью, способной сорвать с выведенного из равновесия индивида все культурные покрывала. В таких ситуациях человек как бы возвращается к своим истокам, где во всей остроте обнажаются общебиологические проблемы внутривидовой конкуренции, группообразования и становления естественной иерархии.

Как показывают данные этологии – науки о поведении животных – именно в регулировании отношений между особями одного и того же вида развиваются особые структуры, предназначенные специально для производства знаков. Однако не только в этологии заостряется отмеченная проблематика. По многочисленным данным этнологии и культурологии отчетливо прослеживается нить символизации, берущая начало непосредственно от "поля брани" наших первобытных предков. В связи с этим следует особо отметить работу известного нидерландского историка культуры Й. Хейзинги "Homo ludens", где автор отводит первостепенную роль в становлении культуры элементу "состязательности", особому "агональному инстинкту", ткущему на грубом полотне конфликта биологических потребностей тонкие узоры высокоритуализованных форм поведения. Отмечая повсеместную распространенность состязаний в хуле и похвальбе, являющихся ритуализованной прелюдией к настоящему сражению [Хейзинга 1992: 81], автор показывает, как эта символическая форма, замещающая физическую агрессию вербальной, отделяется от своего исходного контекста и получает самостоятельное существование в различных сферах человеческой деятельности. Состязания в хуле и похвальбе, разнообразные поединки и единоборства глубоко укореняются в правовой деятельности, в свадебных обрядах и т.д. В конечном счете, структура состязания, поединка, пронизывает все уровни организации социума и лежит в самых сокровенных его основах.

¹ Ср. теорию изменения значений Г. Шлербергера, где в основу семантических сдвигов кладется эмоция, аффект [Степанов 1966: 242].

К тем же результатам приводит и структурный анализ основополагающих религиозных ритуалов, где в истоках и мотивациях практически всякой церемонии опять-таки вскрывается физическое единоборство, закономерно эволюционирующее по семиотической шкале к сложным символическим формам, как, например, облеченные в форму загадок и отгадок словесные поединки жрецов-поэтов в архаичных индоевропейских культурах [Елизаренкова, Топоров 1997; Топоров 1997].

В последнее время в лингвистике все более и более утверждается мнение о том, что человеческий язык развивался в русле ритуала (см., например, [Топоров 1988: 21]). Значительное место занимает ритуал в работах М.М. Маковского (см. [Маковский 1996а; 1996б]). Однако следует подчеркнуть, что ритуал – очень многогранное явление. В отмеченных работах акцентируются прежде всего религиозный и магический аспекты ритуала и рассматриваются преимущественно те его формы, которые возникли на относительно поздних ступенях эволюции. Мы же в данной статье стремимся оттенить другую его грань: линию, идущую от исходных мотиваций знакового поведения, которую детально осветили этологи, и которую первым среди лингвистов встроил в единую с проблемами глоттогенеза концепцию Ю.С. Степанов [Степанов 1971]. Эту ветвь ритуала в противопоставление магической и религиозной можно было бы охарактеризовать как *социально-коммуникативную*. Подчеркнем еще раз, что ее самые ранние истоки, как явственно показывает этология, лежат в действиях, нацеленных на распределение границ жизненного пространства между особями одного вида.

Итак, акцентируя отмеченную грань, мы выходим как на исходные на те ритуализованные формы, часть из которых оказалась табуированной в высокоразвитой человеческой культуре². В русле этого табуирования вербальные действия человека, вышедшего из-под контроля культурной нормы, обычно характеризуются такими общими терминами, как *ругань*, *брань*, *оскорбление* и т.п. Именно на "ругани-оружии", "брани-обороне", "оскорблении-покорении", а также на "оборотных" – позитивных – сторонах этой семантики, мы будем ставить акцент в следующих разделах настоящей статьи.

1.1. Нередко нам приходится сталкиваться с фактами вроде англ. *swear* или русск. *клясть*, *клясться*, когда одно слово обслуживает две семантические зоны, далеко не всегда пересекающиеся в сознании современного человека. В одних контекстах посредством таких слов обозначаемый акт оценивается как 'проклятие, сквернословие, ругань', в других – как 'сакральный акт клятвы, присяги', как 'торжественное обязательство осуществить действием то, что предварительно сформулировано в словесной или какой-либо иной знаковой форме'. Хотя в подобных случаях очевидным образом оцениваются различные типы жизненных ситуаций, в них все же усматривается нечто общее, что не позволяет исследователям и носителям языка различать такие факты как омонимы. Однако в данном случае исследователь не выходит за рамки компетенции носителя языка и ограничивается констатацией некоего прототипа только на интуитивном уровне, избегая более тщательного анализа прототипических отношений. Подтверждением этому могут служить многочисленные факты этимологических решений, где совершенно не учитывается закономерная на уровне прототипа многозначность, стоит ей только выступить в несколько иначе оформленном виде, чем в рассматриваемом случае. В качестве характерного примера можно привести попытки этимологизировать русск. диал. *хаять* 'заботиться' и *хаять* 'ругаться, осуждать'. Эти значения, объединенные одной формой, почти безоговорочно разводятся как этимологически не связанные, т.е. данные омонимы рассматриваются как следствие формальной конвергенции, а если и производится попытка возвести их к одному источнику, то при условии их развития из общего гипотетического источника

² В данной статье мы не затрагиваем проблемы влияния табу на формальную и семантическую стороны слова. Здесь можно отметить недавно вышедшую в свет работу М.М. Маковского [Маковский 2000], где эта проблема детально рассматривается на богатом фактическом материале.

независимо друг от друга [Фасмер 1996, IV: 227–228]. По нашему мнению (о чем свидетельствует и ряд семантических параллелей), для прототипических отношений связь этих значений не менее естественна, чем в случае 'проклинать' и 'давать обязательство', и вполне может рассматриваться как исходно заданная (подробнее см. 1.4). Однако, чтобы не быть голословными, постараемся определить биологические истоки и роль клятвы в становлении звукового языка, и далее рассмотрим прототип знакового взаимодействия более детально с целью выявить его основные семантические параметры.

Понятие "клятва" онтологически неотделимо от понятия "ритуал". Для того, чтобы раскрыть эту зависимость, нам придется сделать небольшое отступление и осветить фрагмент из области тех эволюционных процессов, которые в конечном счете привели к возникновению высокодифференцированных знаковых систем, обслуживающих коммуникативные потребности человека.

Основную тенденцию естественного отбора можно коротко охарактеризовать как стремление к максимальной экономии, к предельному сокращению энергозатрат и времени на пути к достижению цели, или – в иной формулировке – к удовлетворению потребности. Поэтому отбор, естественно, предпочитает те координации движений и последовательности выполнения действий, которые тот или иной биологический вид оказывается способным усовершенствовать в указанном направлении. В зависимости от уровня таких способностей и осуществляется естественное распределение экологических ниш.

Исходя из презумпции, что вид *Homo Sapiens* занял наиболее высокую и выгодную нишу, следует считать, что какие-то из жизненно важных способностей, приводящих к господствующему положению, проявились у человека в большей мере, чем у других биологических видов. Перебирая все естественные потребности и сопоставляя человека с другими видами на предмет способности к их удовлетворению (разумеется, учитывая только то, что достигаемо без использования артефактов), мы неизбежно приходим к выводу, что по любому показателю существуют виды, значительно превосходящие человека, кроме одного – способности к детальному взаимориентированию в процессах коммуникации, к детальному согласованию совместной деятельности и конструированию новых ситуаций из отдельных элементов опыта.

Нет необходимости углубляться в вопрос о соотношении языка и мышления, для того чтобы с достаточной степенью уверенности сказать по крайней мере о том, что способность "выкраивать" отдельные фрагменты из целостно воспринимаемых и переживаемых образов сама по себе является семиотической, т.е. находится в ряду способностей и предпосылок к знакообразованию, поскольку целенаправленное "выкраивание" части из целого не состоялось бы, не имей эта часть определенной **ж и з н е н н о й з н а ч и м о с т и**, которая и создает потребность в о б о з н а ч е н и и. Под давлением этой потребности и рождаются знаковые системы, и можно констатировать, что виду *Homo Sapiens* удалось удовлетворить эту потребность самым экономным способом: вместо серий стереотипизированных движений, исполняющихся в природе для коммуникативных целей, человек стал производить серии стереотипизированных звуков, заменив таким образом ритуал на слово³.

Для создания всех практикуемых теми или иными видами способов удовлетворения жизненных потребностей эволюция использует только один метод. Осуществляет она это посредством жесткой фиксации определенного **п о р я д к а д е й с т в и й**, приводящих к возникновению каких-либо преимуществ у практикующих эти действия особей, и закрепления этого порядка в памяти: генетической (наследственные коорди-

³ Фундаментальное единство "мысли", "слова" и "дела", т.е. полная взаимообусловленность процессов категориального (=знакового) восприятия и указанных типов моторных реакций, наглядно демонстрируется с точки зрения эволюции семиозиса в [Allott 1994: 259–267]. В целом, в последние годы в семиотике можно наблюдать некоторое оживление интереса к проблеме, поднятой еще Пирсом, ставившим вопрос о зависимости знака ("знаковости") от феномена восприятия. Этот вопрос подробно рассматривается, например, в [Stjernfelt 1992] и так или иначе затрагивается в ряде других работ.

нации, безусловные рефлексy) и биографической (условные рефлексy, а также знания, хранимые традицией). В потоке таких преобразований рождаются, наконец, и "сублимированные" координатии, призванные обслуживать коммуникативные потребности: это р и т у а л и – далее – как венец, коронующий эту фундаментальную для всех природных процессов тенденцию к упорядочиванию, – с л о в о. Но данная тенденция – только одно из двух основных звеньев цикла развития. Она регулярно сменяется противоположной ей тенденцией к изменчивости, которая вновь дает материал для отбора более экономных вариантов поведения.

При переходе от биологического ритуала к слову отчетливо выделяемо промежуточное звено, ключевой момент которого мы будем без всяких кавычек обозначать словом к л я т в а. Это – угрожающе-предостерегающий звуковой сигнал, который, выделяясь из ритуализованного взаимодействия и абстрагируясь от него в процессе дальнейшего развития, задает образец для всех функциональных единиц новой знаковой системы – языка.

1.2. Несколько забега вперёд, скажем, что рассматриваемая ниже прототипическая ситуация – гораздо более важное явление, чем просто фрагмент внеязыковой действительности, описываемый словами типа "клятва", "брань" и т.п. Как прямо вытекает из данных, полученных этологами путем кропотливейших наблюдений над особенностями поведения животных и человека, именно в таких ситуациях эволюционные процессы вырабатывают особые структуры, предназначенные специально для производства знаков.

Таким образом, далее мы будем рассматривать ситуацию, где функционирует прототип человеческой клятвы – угрожающе-предостерегающий звуковой сигнал, обычно выступающий в сочетании с принятием позы боевой готовности. В таких ситуациях стимулом, побуждающим вступить в коммуникацию, является момент, когда некоторая особь воспринимает действия другой особи как вторжение в область ее "права" (территориального или обусловленного социальным рангом) (ср. [Kuiper 1960]).

В данном контексте термин ситуация в самых общих чертах совпадает с рамками тех неделимых поведенческих процессов, которые обычно описываются схемой "стимул – реакция – завершающий акт". Таким образом, стимул – "особь, расцениваемая как конкурент, который переступает критический предел" – здесь будет первым знаком, открывающим коммуникативную ситуацию. Что же в данном случае следует принимать за значение?

Сделаем небольшое отступление в область межвидовых отношений и рассмотрим эту проблему на конкретном примере. Известно, что зеленые мартишки (один из видов обезьян) используют три различных сигнала тревоги, соотносящихся с различными типами опасности. Предлагалась интерпретация этих сигналов как обозначающих различные классы хищников, что по существу эквивалентно процессу именования в человеческой речи. Однако против этого существует справедливое возражение, настаивающее на том, что такие сигналы обозначают не классы хищников, а ответные реакции, вызванные появлением хищника и состоящие из действий, посредством которых данная опасность избегается [Csányi 1992 : 39]. Действительно, исследователи обычно так и описывают значения этих сигналов, например: "сигнал тревоги, спровоцированный появлением орла (an eagle alarm), о з н а ч а е т (разрядка наша. – Ю.М.), что нужно бежать с вершины дерева и укрываться в гуще ветвей" [Preuschoft S., Preuschoft H. 1994 : 78]. Тот факт, что молодые особи, еще не имеющие опыта встречи с орлами, издают нужный сигнал тревоги даже при виде падающего листа, говорит о том, что у них нет знания класса хищных орлов, но есть врожденное знание о том, как правильно реагировать на стимул "нечто, опускающееся по воздуху сверху". Это знание фокусируется на нужном классе объектов уже в процессе обучения.

Очевидно, что с точки зрения целесообразности для выживания необходимо знать и источник опасности, и то, посредством чего она избегается. Также очевидно, на наш

взгляд, что сигнал в отличие от слова обозначает не класс объектов в смысле парадигматического противопоставления другим классам, а класс ситуаций, где вполне могут фигурировать и различные источники опасности, тогда как объединение ситуаций в один класс производится на основе сходства или тождества реакций, "приписанных" к этим объектам. Этому можно привести примеры и из человеческой практики.

Экстраполяция данного вывода на все типы сигналов, существующих в животном мире, вряд ли будет противоречить каким-либо данным этологии и психологии. Поэтому в рассматриваемом здесь случае под семантикой стимула "особь, в своем поведении переступившая допустимую грань" мы будем прежде всего понимать определенные поведенческие программы, или – в терминах когнитивной лингвистики – скрипты, существующие в системе знаний особей одного вида и предписывающие им те или иные ответные реакции. Учитывая неразрывность поведенческой цепи "стимул – реакция – завершающий акт", а также то, что ментальные структуры, обозначаемые термином "скрипт", репрезентируют ситуативную динамику, можно считать, что в семантику данного стимула входит вся последующая ситуация.

Естественно предположить, что сама возможность целесообразной реакции здесь базируется на том, что в памяти вступающих в контакт особей существует определенное представление о жизненно важном пространстве, которое следует оборонять от конкурентов. Это представление можно было бы считать эквивалентным тому, что в лингвистике принято называть понятием или сигнификатором. Однако в связи с рассмотренной выше спецификой семантики сигналов здесь более уместными представляются термины "ценность" и "жизненная значимость" (об их различии см. 1.4). Таким образом, под значением в дальнейшем будет пониматься прежде всего то, что способствует выживанию, размножению и улучшению условий обитания биологического вида (ср. [Sharov 1992: 350, 354–357]). Таким образом, кроме предписанной указанным стимулом поведенческой программы в его значение входит врожденное или основанное на предшествующем опыте знание жизненной значимости ситуации, на фоне которой эта программа реализуется.

1.3. Если учесть, что нарушающая границы особь вовсе не обязательно вкладывает в свое поведение знаковое намерение, то в рассматриваемой ситуации стимул является знаком только с точки зрения воспринимающего аппарата. Однако данный стимул предписывает прежде всего реакцию посредством того, что можно назвать знаком уже с точки зрения производящего аппарата. Здесь это будет простейший ритуал угрожающего предостережения, представляющий собой упомянутую выше демонстрацию боевой готовности.

Целесообразность этого символического действия заключается в том, чтобы предотвратить нанесение физического ущерба собрату по виду. Соответственно, такой знак образовывается посредством трансформации того поведения, которое в изначальной своей функции направлено на осуществление подобных действий. То есть вместо того, чтобы направить определенные действия на нанесение физического ущерба, особь предварительно демонстрирует эти действия другой особи. Вследствие такой функциональной переориентации соответствующая поведенческая программа в ходе эволюции претерпевает определенные изменения (редукция, утрирование наиболее показательных деталей, строгое упорядочивание последовательности демонстрируемых действий и т.п.) и превращается в особые двигательные координации. На другом полюсе этого превращения осуществляются противоположнонаправленные изменения, приводящие к появлению координаций, уравновешивающих первые (см. 1.5).

Итак, учитывая данные этологии, можно сказать, что на рассматриваемом этапе развития коммуникативной ситуации знак "угрожающий ритуал" имеет денотатом те действия, которые существуют пока только в намерении отправителя и которые будут осуществлены при условии, если со стороны адресата не будет получено соответствующего знака, тормозящего запуск этих действий.

1.4. Как отправитель, так и получатель знака ясно представляют себе обозначаемые действия, т.е. денотат един для обоих. Последнее можно постулировать и для ценности данного знака – она "безучастна" по отношению к вступающим в коммуникацию конкретным индивидам. Ценность – общевидовое достояние. Она всегда положительна с точки зрения выживания и процветания вида. В данном случае ценность заключается в предостережении, в предупреждении столкновения, наносящего ущерб сообществу. Предостережение же в онтологическом плане – всегда за прет и у слов и с, или – на более абстрактном уровне – граница и договор.

Однако в рассматриваемом знаковом акте кроме абстрактной ценности, доступной, пожалуй, лишь отстраненному наблюдению, существует и нечто, что отправитель и получатель оценивают по-разному. По отношению к такой индивидуальной оценке мы будем использовать термин "жизненная значимость", или просто "значимость". В отличие от абсолютности, свойственной ценности, значимость – величина переменная, т.е. она непосредственно связана с функцией. С точки зрения отправителя, угрожающий ритуал всегда выполняет положительную функцию. В рассматриваемом случае посредством обозначаемой агрессии отправитель защищает свою ценность – жизненное пространство. В эмоциональном восприятии получателя в зависимости от его социального ранга этот знак интерпретируется либо как препятствие, ограничивающее личную свободу, либо как оскорбление. Отрицательное для адресата значение функции ритуала обусловлено ассоциацией с возможным наказанием за нарушение границ чужого "закона".

По нашему мнению, именно различная с позиций отправителя и адресата значимость одного и того же знака обуславливает отмеченную в 1.1 энантиосемию слов типа *клясться*, *хаять* и т.п. В контексте наличной ситуации знак для обоих коммуникантов практически всегда однозначен, но по-разному оценивается ими. Можно постулировать, что многозначность в таких случаях – это главным образом достояние отстраненного наблюдателя, и – соответственно – отвлеченной от речи языковой системы. То есть возможность различной интерпретации возникает прежде всего тогда, когда знак используется не участниками ситуации, а для описания этой ситуации со стороны.

Если по отношению к рассматриваемому здесь случаю наблюдатель употребит фразу "особь А посылает знак угрозы особи Б", то ее можно интерпретировать в зависимости от эмпатии либо как "особь А защищает себя или свою территорию от особи Б", либо как "особь А наносит оскорбление (бросает вызов) особи Б". К подобным интерпретациям, как мы думаем, и восходят вышеупомянутые значения русск. диал. *хаять*, трактуемые как омонимы. Если объект глагола *хаять* – нечто, являющееся ценностью для субъекта, то реализуется значение 'заботиться', т.е. 'оберегать, защищать'. Если же объект – адресат вербального действия, то значение 'порицать, ругать'.

Характерной чертой ритуальных актов является их одновременная двунаправленность – к "своему" и к "чужому" адресатам (см. 2.1). Поэтому в ритуальном мышлении подобные значения сосуществуют неразрывно. *Нехай* – производное от *хаять* – исследователи возводят к *хаять* 'заботиться'. Однако значение этого производного 'пусть', т.е. 'не мешай, не препятствуй', или – ближе к рассматриваемой теме – 'не возбраняй' (=не препятствуй бранью-обороной), говорит и о противоположной возможности. Аналогичную энантиосемию можно наблюдать в сербохорв. *kāp* 'укор, наказание' и 'забота' (см. также 3.3), близки к этому употреблению англ. *charge* в значениях 'обвинение', 'атака' и 'забота, ответственность', а также многие другие модификации основывающейся на данном принципе энантиосемии, для характеристики которых у нас недостаточно места.

1.5. Поставленное посредством угрожающего ритуала условие требует ответного знака. Вариации сюжетов дальнейшего развития ситуации в зависимости от выбранных критериев можно свести к двум, трем и более типам. Однако для завершенности

контура взаимодействия и, соответственно, для охвата основных семантических параметров ситуации вполне достаточно остановиться на самых редуцированных вариантах, которые можно обобщить как "акт умиротворения". В отличие от ритуала, демонстрирующего угрозу, "гасящие" ее жесты и позы более разнообразны как в формальном, так и в содержательном плане, что, очевидно, связано с особенностями господствующих у тех или иных видов способов построения социальной иерархии. Руководствуясь социальным критерием, акты умиротворения можно свести к трем основным типам: если адресат хочет избежать столкновения или наказания, он должен в зависимости от существующих между ним и адресантом отношений либо предъявить последнему свои мирные намерения (член другой группы), либо выразить покорность его воле (младший по рангу), либо обозначить уважение к его естественному праву (равный, – а в сообществах с развитым этикетом, как, например, у волков и человека, – здесь возможен также и старший по рангу).

В противоположность демонстрации боевой готовности умиротворяющие ритуалы денотируют не агрессивное поведение, а позы и двигательные координации, свойственные различным состояниям пассивности или "обезоруженности". Видосохраняющая ценность этих знаков – торможение агрессии, или ее отвод в безопасное для сообщества русло. Значимость для отправителя здесь преимущественно отрицательна, так как он принимает чужие условия, и, соответственно, – положительна для адресата, восстанавливающего или расширяющего границы своего жизненного пространства.

Здесь пока не затрагивается завершающий ситуацию акт, который, как нам показалось, удобнее представить в анализе межгрупповых отношений (см. 2.2).

Итак, мы вкратце рассмотрели коммуникативную ситуацию, где функционируют простейшие знаки-ритуалы – угрозы и умиротворения. Рисунок взаимодействия этих ритуалов представляет собой типичный регулирующий контур, предназначенный в данном случае для поддержания равновесия в системе внутривидовых или внутритрупповых отношений.

1.6. Исходя из самых общих закономерностей протекания психических процессов, можно постулировать, что рассматриваемая коммуникативная ситуация представлена в психике каждого из участников как целостное психическое образование, отражающее процесс собственного взаимодействия с другим участником. Этот процесс сопровождается качественно единым эмоциональным состоянием и протекает на непрерывном временном интервале от момента возникновения конфликтного напряжения до момента его снятия. Принимая естественное допущение, что особи одного вида имеют сходный (по крайней мере, в основных аспектах взаимодействия с реальностью) жизненный опыт и в процессе взросления проходят тот или иной путь по иерархической лестнице, можно постулировать, что у каждой особи такая ситуация, в зависимости от ролевого участия, представлена как минимум в двух основных вариантах: позитивном (защита ценности) и негативном (наказание, принятие чужих условий).

Таким образом, если абстрагироваться от наличной ситуации, то – согласно семиотическому правилу обращения планов выражения и содержания – каждый фигурирующий в наличных ситуациях знак, если его использовать для целей описания таких ситуаций, способен репрезентировать как всю ситуацию в целом, так и любой ее значимый фрагмент, в том числе и другой знак со всеми его значениями.

1.7. Подводя итог описанию прототипической ситуации на уровне взаимодействия отдельных особей, рассмотренный контур взаимодействия можно в самых общих чертах представить в следующем виде. У каждой особи существует свое жизненное пространство, границы которого определяются, согласно К. Лоренцу, "исключительно равновесием сил" [Лоренц 1998а: 87]. Таким образом, граница – это исходно чисто психическая сущность, критическая линия, активизирующая знаковое поведение. Можно сказать, что граница – это универсалия для всей природы, порождающая знак и сама же им являющаяся, так как ни знак, ни граница не существуют раздельно (разумеется, речь идет не только о территориальных границах, но и о тех

"пограничных знаках", которые существуют в психике в виде аффективных следов, полученных в процессе формирования поведенческой нормы). Факт, что особям свойственно быть озабоченными не только охраной и обороной своих границ, но также стремлением к их расширению, в немалой мере способствует регулярности и частотности "знаковых" столкновений и держит в постоянном напряжении соответствующие психические структуры, отражающие предшествующий аналогичный опыт.

2. СИМВОЛ ГРУППЫ. КЛЯТВА И БОЕВОЙ КЛИЧ

2.1. Подлинно революционные изменения в знаковых системах происходят тогда, когда внутривидовые отношения осложняются межгрупповыми, т.е. когда появляется новая функциональная единица – группа. Взаимодействия между группами ничем принципиально не отличаются от взаимодействий между отдельными особями. Однако внутри группы рождаются особые отношения, которым можно найти параллели разве что только на уровне строения и функционирования организма отдельной особи.

Группообразование, или – в предельном случае – образование брачных пар, становится возможным благодаря явлению, которое этологи называют "переориентированным движением нападения" [Лоренц 1998а : 176]. На знаковом уровне это отображается в том, что особь, исполняющая ритуал, производит переориентацию демонстрируемой угрозы с одного адресата на другой, зачастую отсутствующий в наличии. За счет этого элементарного пространственного сдвига, исполняющего здесь те же функции, что и жесты пассивного умиротворения, угрожающий ритуал приобретает дополнительную смысловую нагрузку, которая несет сообщение о том, что демонстрируемая агрессия служит общим для отправителя и исходного адресата целям. Этим актом отправитель как бы берет на себя обязательство защищать исходного адресата в совместном противостоянии внешнему миру [Лоренц 1998а : 179]. Данная модификация угрожающего ритуала имеет уже двух адресатов – "своего" и "чужого", – что самым естественным образом объясняет сосуществование полярных значений в словах типа русск. диал. *халъть*⁴. Отражение подобной двойственности мотиваций в незамутненном какими-либо иными коннотациями виде можно наблюдать в др.-инд. *haryati* 'любит, желает, хочет' и 'требует, грозит, угрожает' [Кочергина 1996 : 771].

Итак, угрожающий ритуал, используемый описанным выше образом, ложится в основу тех социальных связей, которые в конечном счете приводят к образованию всех сложных форм организации человеческого социума. С точки зрения глоттогенеза здесь знаменателен тот факт, что одна и та же стереотипизированная серия движений, т.е. одна и та же форма, обязательно включает в себе противоположные смыслы. И такие знаки-ритуалы, извлеченные из агрессивной формы поведения и превращенные в общегрупповые символы, становятся "завязью" фундаментальных концептов, лежащих в основе человеческой культуры.

2.2. Важной особенностью ритуала на данном этапе становления является то, что он выходит за пределы наличной ситуации и успешно функционирует при отсутствии внешней угрозы. И даже более того, при длительном отсутствии такой угрозы, – что закономерно влечет за собой возрастание внутренних конфликтов, – он функционирует чаще и интенсивнее, стремясь удержать группу от распада. Эта восстанавливающая единство функция не раз подчеркивалась исследователями ритуала в человеческой культуре (см., например [Тэрнер 1983:112; Топоров 1988:48]). Факты отсутствия реального "врага" в ситуациях исполнения ритуала говорят о возросшей его символичности. Его детонатором являются уже прошлые ситуации, в которых группа совместными усилиями достигала каких-либо значимых завоеваний. В человеческой

⁴ Разумеется, такая амбивалентность сигналов не ограничивается только уровнем характеризующих здесь церемоний, но пронизывает практически весь зоосемиозис, начиная с элементарной маркировки "запахом" (scent marking), где реализация какого-либо из амбивалентных значений ('безопасность' или 'угроза') зависит от групповой принадлежности адресата ('свой' или 'чужой') [Noth 1994: 53].

культуре это отразилось в противопоставлении мифического сакрального времени текущему профанному, – в облеченных в ритуальную форму описаниях деяний богов, предков и культурных героев, задающих парадигму существующему миропо-
рядку.

Начало процесса абстрагирования ритуала из контекста наличной ситуации, как мы уже отмечали [Монич 1998: 116], коренится в динамике протекания психических процессов. В этологии конечный этап единого поведенческого цикла обозначается термином "завершающий акт" [Лоренц 1998б: 319]. В рассматриваемом нами цикле взаимодействия завершающий акт заключается в том, что те же ритуализованные действия, с которых начинается столкновение с противником, спонтанно воспроизводятся сразу после благополучного разрешения конфликтной ситуации. Это со всей очевидностью прослеживается в динамике употребления боевого клича, – прямого наследника прототипического ритуала-группового символа (см. 2.3). Вы-
ражая угрозу во время атаки, тот же боевой клич символизирует победное торжество. Таким образом, торжественная и праздничная атмосфера ритуала во многом восходит к психическим эффектам, возникающим при резком снятии сильного эмоционального напряжения в победе над опасным противником. Потребность в переживании этих ощущений делает ритуал с а м о ц е л ь ю, в чем и коренится отмеченное еще Б. Малиновским различие между двумя типами ритуалов: магическим и религиозным [Малиновский 1998: 39–40]. Если магический ритуал как инструмент прямого воздействия на враждебные силы исполняет функции боевого клича-угрозы, то религиозный – боевого клича-торжества⁵. В конечном счете процесс символизации угрожающего ритуала приводит к тому, что "чужой" его адресат предельно обобщается и постепенно превращается в сверхестественный мир духов и богов.

Характерно, что в моменты, когда ритуал в своей религиозной ипостаси становится катализатором совместного торжества, связующим центром социума, он уничтожает то, что его магическая и социально-коммуникативная ипостаси создают кропотливым трудом в промежутках между праздниками. Он размывает все границы, разрушает все преграды и табу. Регулирующий контур двух рассмотренных выше типов ритуалов с утратой умиротворяющего ритуала с его отрицательным знаком закономерно превращается в цикл с положительной обратной связью. В результате этого иерархически структурированная группа становится единой массой. В создаваемом ею аффективном резонансе космос – упорядоченный мир группы – вырывается из своих пределов и сливается с хаосом в единообразном ритме, задаваемом участниками ритуального действия.

Как видно, ритуал, становясь групповым символом, привносит особые значения в динамику знакового поведения. В соответствии с выделенными выше денотативным, эмоциональным и ценностным уровнями семантики их в самом общем виде можно определить как 1) группа-масса, 2) торжество-праздник, свобода, 3) связь как лишенное границ мистическое единство и – с другой стороны – связь как упорядочивание, согласование совместной деятельности, подчинение единому закону-клятве, что в противоположность семантике свободы рождает семантику необходимости, рока, судьбы.

⁵ Разумеется, такое разграничение между магической и религиозной сферами касается только определяющих их глубинную мотивационную сущность полюсов, в то время как в средней части эти сферы существенно интерферируют (см., например [Токарев 1990: 405–407]), что со всей очевидностью просматривается в том, что такие элементы религии, как молитва, хвалебный гимн и жертвоприношение, восходящие преимущественно к умиротворяющей ветви ритуала, так же, как и магические акты, рассчитаны на *воздействие*, только направленное на божество с целью задобрить или испросить у него какие-либо блага, тогда как магия использует методы, продолжающие линию активной обороны, агрессии или обмана противника (об осторожной роли ритуального обмана см. [Толстая 1995: 109]). В целом же, есть основания говорить о том, что магия покоится на разграничивающей функции ритуала, отвечающей за противостояние и вражду, в то время как религия – на объединяющей, нацеленной на сглаживание противоречий.

2.3. Как было отмечено в 2.2, в наши дни еще сохраняются ритуалы, функционирующие на уровне прототипа межгрупповых взаимодействий. Это воинские ритуалы, центральным звеном которых является боевой клич. Попытаемся вычленить основные ситуации употребления боевого клича.

1) Столкновение двух враждебных воинских подразделений. Атака. Здесь очевидным образом представлено исходное значение угрожающего предупреждения-требования.

2) Принадлежащие двум различным, но дружественным или нейтральным армиям, подразделения приветствуют друг друга. Здесь боевой клич символизирует союзные обязательства или мирный договор.

3) Войско приветствует своего военачальника или свое подразделение, вернувшееся после выполнения задания. Здесь символизируется единство войска.

4) Праздник. Торжественное настроение. Некоторые случаи особо торжественных церемоний приветствия. Эти типы ситуаций восходят к трем первым типам, или – по крайней мере, вместе с ними питаются из одного аффективного источника, – и совершенно не нуждаются ни в контексте реальных боевых действий, ни в принадлежности участников к разряду военнослужащих. Подобного рода связь положительных эмоций с боевыми действиями запечатлелась, например, в др.-инд. *gaṇa* – 'радость' и 'борьба', *ratha* – 'колесница; воин, сражающийся на колеснице, герой' и 'радость, наслаждение'.

Тот факт, что значения боевого клича жестко обусловлены не языковыми, а ситуативными контекстами, – отчего они слабо рефлексированы теми, кто его употребляет, – говорит о его прямой связи с естественной спонтанностью ритуала, функционирующего на "докультурном", биологическом уровне. На примере охарактеризованных ситуаций можно видеть, что знак "клятва-боевой клич", относясь к знаковой системе явно не языкового типа, все же обладает развитой способностью функционировать при полном отсутствии внешних стимулов, – т.е. в прямом смысле соотноситься с прошлыми и будущими событиями. Как видно, только в одном типе ситуаций боевой клич может рассматриваться как прямой ответ на внешний стимул. Это ситуации непосредственного боевого столкновения, атаки (и отчасти, пожалуй, естественно примыкающие к ним ситуации победного торжества, которые, впрочем, уже можно рассматривать как чисто символические). В остальных же случаях – праздник (праздничное, торжественное настроение), церемонии торжественного приветствия и т.п. – употребление боевого клича уже явно диктуется внутренними (эндогенными) стимулами, которые исходят от потребности переживания эйфории, восходящей филогенетически к резкой эмоциональной разрядке при атаке и ее победном завершении, производящем эффект "освобождения", "расширения-увеличения" (подробнее см. 5.4).

Соотнесенность ритуального знака с "будущим" отчетливо просматривается, например, в брачных церемониях у многих видов животных, где самец, исполняя угрожающий ритуал перед самкой, адресует ей сообщение о том, что он намерен в будущем ее защищать, на что недвусмысленно указывает так называемая "переориентированная" направленность ритуального акта в сторону предполагаемого или воображаемого "врага".

Отмеченная способность клятвы-боевого клича соотноситься с прошлыми и будущими событиями, практически отсутствующая у других естественных сигналов, делает ее наиболее удобным "сырьем" для создания конвенционального языкового знака (см. 4.4).

3. ФУНКЦИИ КЛЯТВЫ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И ЯЗЫКЕ

При наблюдении за семантическими структурами и родственными связями слов, соотносящихся с понятием клятвы, становится очевидным, что это понятие регулярно возникает в окружении реалий и иных понятий, прямо (или опосредованно через

определенные культурные инновации) связанные с теми семантическими параметрами, которые были охарактеризованы в предыдущих разделах.

В приводимых ниже примерах мы не затрагиваем вопроса о первичности тех или иных мотиваций, или о направлении семантического развития, поскольку этот дискуссионный вопрос требует особого рассмотрения. В данной статье он затрагивается лишь вскользь в отдельных пунктах (см., например, 3.2).

Начнем данный раздел с пункта, от языковых иллюстраций которого мы предпочли воздержаться.

3.1. В прототипической коммуникации исходная (сигнальная, по К. Лоренцу) функция угрожающего ритуала проявляется в том, что он замещает требующую больших энергозатрат и небезопасную "контактную" агрессию ее символическим изображением. В семиотике процесс символизации агрессивного поведения характеризуется как "жест вместо акта" [Степанов 1998: 135]. Даже при поверхностном взгляде становится очевидным, что в человеческой культуре наиболее несублимированный вариант этой древнейшей функции ритуала закрепился за обценной, или "матерной", лексикой, а также за некоторыми сопутствующими ей жестами и позами. Базовая денотация этих вербальных и невербальных знаков говорит об определенных особенностях способов построения социальной иерархии. Подобный "сексуальный" план выражения межранговых отношений наблюдается в отнюдь не табуированном виде у многих видов приматов. По отношению к динамике конфликтного взаимодействия денотируемые рассматриваемым способом акты занимают место завершающих актов, которые производит самец над самкой после того, как сломлено сопротивление последней. Это "постситуативное" положение символически обобщается и распространяется на прочие типы отношений, обозначая позиции власти и подчинения уже независимо от сексуальной подоплеки.

Невзирая на подобные коннотации, исходная функция знакового поведения сохраняется у табуированной лексики в довольно неприкрытом виде. Непосредственно жизненный опыт показывает, что бранные слова спонтанно рождаются в условиях, когда возникает потребность в наступательно-оборонительных реакциях. Разумеется, мы имеем в виду в первую очередь те случаи, когда брань направлена на конкретного адресата или его действия. Использование бранной лексики для холостого "сотрясания воздуха" имеет более сложные мотивации. Есть все основания полагать, что такая потребность коренится в тех же слоях психики, где покоятся магические представления, и, таким образом, безадресатная брань родственна актам заклятия пространства, магическому кругу и прочим продуктам деятельности магических ритуалов.

3.2. Семантика вербальной агрессии закономерно фиксируется лексикой, в связях которой без труда вскрывается типичный для такого типа знакового поведения ситуативный контекст. В историческом плане здесь показательна связь между *брань* (др.-русс. *боронь*), *оборона* и *бороться*. Характерно, что др.-русс. *боронь* фиксируется только в общем значении 'борьба, препятствие'. Употребление заменившего эту древнюю форму старославянизма *брань* в качестве родового термина для обозначения вербальных актов, не вписывающихся в рамки культурной нормы, вероятно, – явление относительно позднее. Однако значение 'бранить' наблюдается также в литов. *bárni, barù*. Другие индоевропейские соответствия фиксируют значения не вербальной, а физической агрессии: др.-исл. *beria* 'бить', лат. *ferire* 'бить, рубить, колоть' и др. Независимо от того, имелось ли значение 'брань, ругань' у данной группы слов в древности, или же оно впоследствии отдельно развилось в русском и литовском (что представляется более вероятным), сам факт его появления говорит о том, что вербальная агрессия является неотъемлемым элементом ситуаций, с которыми регулярно соотносились рефлексy соответствующего индоевропейского архетипа. В таких случаях сознание носителя языка, конкретизируя фоновое значение ситуации, естественно фокусируется на каком-либо значимом ее акте: вербальном (бранить), физическом (бить), или, как в чеш. *braň* и польск. *broń* 'оружие', – на

материальных посредниках действия. В русск. *броня*, в противоположность семантике 'оружие', фокус внимания фиксируется на материальных средствах защиты.

3.3. Не менее показательна в плане иллюстрации прототипических связей и функций клятвы группа слов, родственных др.-русск. *корь* 'оскорбление, брань'. Наиболее акцентирована в этой группе функция возмездия, наказания: в жесткой форме – русск. *кара*, польск. *kara*, словен. *koríti* 'наказывать', польск. *korzyć* 'унижать, смирать', русск. *покорять*; в более мягкой форме – русск. *укорять*, болг. *коря* 'порицаю', словен. *karati* 'порицать, делать выговор', чешск. *karati* 'упрекать, укорять'. Весьма симптоматичны в плане указания на прототипические связи такие факты, как болг. *карам* и сербохорв. *кап*. В болг. *карам* 'погоняю, привожу в движение, управляю движением' заметна утрата конкретной семантики наказания и замена ее более фоновым значением, соотносимым с прототипическими мотивами властного контроля за территорией. Подобная семантика часто возникает на еще более общем фоне охранно-оборонительных мотиваций, который обнаруживает себя в сербохорв. *кап* 'укор, наказание' и 'забота' (ср. русск. диал. *халть* 'ругать, порицать' и 'заботиться'). Естественность развития затронутых семантических тем из одного источника можно проиллюстрировать множеством фактов, например, и.-е. **g^hen-* дает русск. *знать*, латышск. *ganīt* 'стеречь, пасти', *dzīt* 'защищать', ирл. *gonim* 'раню', др.-инд. *hānti* 'бьет', др.-исл. *gunnr* 'борьба'.

За пределами славянских языков продолжения и.-е. **kar-* обнаруживают закономерное для уровня межгрупповых взаимодействий значение 'войско', наблюдающееся в литов. *kārias*, ирл. *cuire*, др.-перс. *kāra-* (также 'народ'), гот. *harjis* (ср. др.-инд. *vārūtha* 'доспехи, щит, охрана, войско, множество' при литов. *varýti* 'гнать'). Некоторые исследователи сомневаются по поводу включения этих слов в рассматриваемую группу (см., например [Черных 1994, I: 378]). Однако, на наш взгляд, вполне очевидно, что значения типа 'защищать' и 'прогонять', отражающие природные функции клятвы-угрозы, относятся здесь к значению 'войско, народ' так же, как имена действий относятся к именам деятелей. Это можно наглядно продемонстрировать непосредственной связью между лат. *agere* 'гнать, вести; соблюдать, сохранять; действовать; говорить; жить' и *agmen* 'войско, толпа, вереница', в отношении к которым *ager* 'земля, надел' может рассматриваться как принадлежащая *agmen*'у и охраняемая им территория, а *agināre* 'вертеться, изворачиваться' – как одно из самых характерных для соотносимых с ритуалом слов обобщений охранно-оборонительного аспекта существования (подробнее см. 3.6–3.7).

3.4. Связь клятвы еще с одним важным аспектом защиты – ее материальным воплощением в виде "огороженного пространства" – можно отметить в др.-греч. ἔρκος 'клятва' и ἔρκος 'ограда, преграда'. Кажется несколько странными слова Э. Бенвениста о том, что в "мировоззрении древних греков нет ничего, что благоприятствовало бы такой интерпретации" [Бенвенист 1995: 338], в то время как воды Стикса, в греческой мифологии неоднократно прямо отождествляемые с клятвой, являются не чем иным, как г р а н и ц е й, п р е г р а д о й, отделяющей мир живых от мира мертвых. Параллелью этому является фрагмент древнеиндийской космологии, где божество Варуна олицетворяет как водную стихию, окружающую мир и защищающую его от хаоса, так и жестокое возмездие за клятвoprеступление. Очевидно, что и то и другое покоится на представлениях о границе, преграде, запрете.

Петля Варуны – суровый символ клятвы-обязательства (ср. др.-русск. *вервь* 'община, принадлежащий общине земельный надел' и *вьрвь* 'веревка' (опредмеченная клятва), которые, как и др.-инд. *Vāruṇa-* восходят к и.-е. **uer-u-*). Здесь мы видим один из вариантов материального воплощения уже другой базовой функции ритуала. Однако и для др.-греч. ἔρκος мотивация от связующе-объединяющей функции не менее законна, чем от защитной. В подобных случаях обе мотивации сосуществуют неразрывно, так как связь здесь служит защитным целям. В процессе строительства

искусственного укрепления связующе-упорядочивающая функция ритуала материализуется так же, как в результате этого процесса – будь то ограда или дом – материализуется защитная функция. В дальнейшем эти отношения закономерно проецируются в ткаческое ремесло (ср. ср.-ирл. *fertas* (< и.-е. **ǵer-t-*), где охранно-оборонительное вращение материализуется с одной стороны как защитный вал, с другой – как веретено, т.е. орудие ткаческого ремесла, символизирующее в то же время ось вращения мира, тогда как окружающий поселение вал здесь символизирует его обороняемые границы). В подобных случаях мы имеем дело – используя удачный термин С.Г. Проскурина – с концептуализированными областями вещественного мира, где материальные предметы, перенимающие функции ритуала, становятся своего рода вещественными знаками концептов.

3.5. Центральное место и значение клятвы в формировании правовой и религиозной сфер деятельности вряд ли нуждается в обосновании. Можно привести известное соотношение между лат. *jus* 'право' и производным от него глаголом *jūro* 'клянусь'. Здесь право как бы находит осуществление в своего рода вербальных "путях", обязывающих клянущегося к исполнению изрекаемых формул. Базовую семантику обязательства можно обнаружить в более отдаленных связях *jūs* с *jugo* 'связываю', 'привязываю'. Оба слова восходят к и.-е. **ǵeu-* с закономерной ритуальной энантиосемией: 'связывать, соединять' и 'одевать, отстранять, разъединять'. В композите *jūrgāre* (< *jūs* + *ago*) 'ссориться, ругать, бранить, судиться' правовой акт как бы "регрессирует", возвращаясь к нормам прототипических отношений. Это, как нам кажется, довольно недвусмысленно указывает на психическую локализацию и природные истоки человеческого закона и права.

Те же мотивы связи-обязательства лежат в основе лат. *religio* 'совестливость, благоговение, святость, религия (больше в значении 'культ, почитание')', а также 'опасение, грех, вина, суеверие'. Это слово, выражавшее, как нетрудно заметить, довольно широкий спектр смыслов, дало современный термин для обозначения системы отношений, связывающих человека со сверхъестественным миром. *Religio* восходит к глаголу *religāre*, который мог реализовываться как в значении 'связывать', так и 'развязывать' (в чем можно видеть границу между двумя группами значений *religio*), и далее – к *ligāre* 'связывать, сдавливать, сковывать'. Употребления, подобные *ligāre pactum* 'заключать договор' или *ligāre conjugium* 'вступать в брак, заключать брачный договор', показывают, какие представления лежат в основе договорных соглашений – как между людьми, так и между человеком и богом, – особенно, если учесть, что эти выражения в этимологическом аспекте почти тавтологичны (*conjugium* < *jugāre* 'связывать', *pactum* < *pangere* 'вбивать, вколачивать; слагать, сочинять', т.е. в основе опять же представления о соединении). Специфику же собственного религиозного сознания составляет прежде всего особый эмоциональный фон, который отражен в *religio* и закономерно отсутствует, например, в юридическом термине *obligatio* 'обязательство, поручительство' (< *ob-ligo* 'связывать, обязывать, торжественно обещать').

3.6. У древнерусского религиозно-правового термина *вѣра* отмечалось также употребление в значении 'присяга, клятва' [Черных 1994, I; 141]. Древнеисландская богиня, олицетворявшая клятву верности, носила имя *Vār*, того же корня, что и русск. *вера*. Вероятно, сюда же в конечном счете восходит и вышеупомянутый Варуна (др.-инд. *Váruṇa* < и.-е. **ǵer-u-*). Следует сказать, что архетип **ǵer-* дал весьма внушительное количество производных, способных иллюстрировать все грани прототипической семантики с самых разнообразных позиций. Многие из этих производных от фона защитно-объединяющих смыслов отделили и оформили понятия жизненного пути и вращения, например, др.-в.-нем. *wirt* 'судьба, участь, рок', русск. *вертеть*, др.-инд. *varṭate* 'вертится; существует, проживает, занимает место; случается', лат. *vector, verti* 'вращаться, кружиться; находиться, пребывать; изменяться, превращаться'

и т.д. В том же направлении развития оформилось и понятие ценности (ср. нем. *Wert*, англ. *worth*, кимр. *gwerth* 'цена' и т.д.). Эти, а также многие другие языковые данные, показывают, что прототипические отношения на бессознательном уровне репрезентированы как находящиеся в непрерывном охранно-оборонительном вращении. Пожалуй, каждый язык имеет способы описания образа жизни или поведения через вращение (ср. русск. *вертеться*, *крутиться*, *изворачиваться*, *выкручиваться*, нем. *sich herauswinden*, *sich herausdrehen*, лат. *conversatio* 'образ жизни или действий, общение, обхождение, использование', др.-инд. *vṛtti* 'поворот; поведение, характер, нрав, привычка; деятельность, работа, средства к существованию'). В конечном счете, вращение нашло свое законное место и в первобытной картине мира, что в связи с затронутым архетипом **yer*- можно проиллюстрировать такими фактами, как уже упоминавшиеся др.-инд. *Váruṇa*- и ср.-ирл. *fertas* (см. 3.4), также лат. *vertex* 'вихрь, водоворот; голова, вершина, центр вращения неба, небесный полюс', русск. *время*, где зафиксировалась идея цикличного вращения макрокосма, и т.д.

3.7. Итак, пользуясь клятвой-угрозой как древнейшим знаковым средством регулирования внутривидовых отношений, человеческий индивид или согласованно действующая группа возводят и поддерживают вокруг себя символическую преграду, защищающую их от внешнего мира. В динамике клятва проявляется в том, что ею "клянут" противника, отбрасывая его от своей территории, и ею же клянутся друг другу в верности или в соблюдении договорных обязательств. В статике охранно-оборонительные функции клятвы овеществляются в различных защитных укреплениях, оружии, а также в средствах, используемых для связывания и скрепления в строительстве, а в дальнейшем и в других видах деятельности.

Общая для группы клятва является для ее членов одновременно законом, боевым кличем и опознавательным признаком, отличающим группу от других групп. Иными словами, группа отождествляет себя со своей клятвой. И эта клятва-группа стоит не только на страже границ своей территории, но и на страже порядка в собственных пределах, карая клятвопреступников, чем как бы "излечивая" и защищая саму себя от "порчи".

Естественно предположить, что те же эволюционные процессы, в потоке которых рождается ритуал, в конечном счете редуцируют его до одного, — достаточно репрезентативного и самого экономного с точки зрения энергозатрат действия — звукового сигнала. Это действие и развивается в слово человеческого языка. Таким образом, те исходные слова, которые возникли указанным путем, должны были так или иначе отражать в своей семантике описанный здесь единый комплекс представлений. Бессознательные психические процессы упаковывают этот комплекс в следующую схему, наличие которой, как нам кажется, подтверждается тем, что в самых разных культурах и в самое разное время стабильно продуцируются одинаковым образом организованные языковые и мифологические картины мира.

В ритуальном мышлении пространство разделено на три значимые зоны: "свою", "чужую" и "нейтральную", т.е. границу, зону взаимодействия. Каждая из них имеет свою эмоциональную, причем визуализированную соответственно в белый, черный и красный цвета окраску⁶. "Свое" пространство заключено в круг, опоясанный нейтральной полосой, за которой существует только "чужое" пространство. Этот круг вычерчивается субъектом "своего" пространства посредством клятвы в непрерывном охранно-оборонительном вращении, остановка которого может привести к вторжению "чужого" пространства. Клятва локализована одновременно в центре и в границе круга. По существу — это та же элементарная физическая модель, которая повсеместно проявляется в природе от масштабов атома и до галактических

⁶ Мы не имеем возможности для детального обоснования данного пункта. Отметим хотя бы тот факт, что он находит подтверждение как в единообразии ритуальной символики всего мира [Тэрнер 1983: 93–100], так и в не меньшем единообразии архаичной семантики цвето-обозначений, подробно исследованной в [Berlin, Kay 1969].

масштабов. Здесь так же действуют центростремительные (клятва как связь-обязательство) и центробежные (клятва-проклятие) силы.

Можно добавить, что во вращении круга клятвы есть еще один динамический аспект: заключенное в оболочку клятвы пространство как бы пульсирует, – то сужаясь, то расширяясь, – в зависимости от психоэмоционального цикла, структурированного от будней к празднику (об отражении такого типа явлений в языковых фактах см. ниже, 5.4).

Благодаря тому, что жизненное пространство находится в непрерывном вращении, в ритуальном мышлении пространство и время естественно уживаются в едином образе. Как констатируют исследователи, «понятие "время" тесно связано первоначально с понятием "ограниченное, или обстроенное оградой, пространство (нашего) мира", причем некоторые материальные приметы последнего – "забор", "колонна", "дерево, стоящее в центре" и т.п. – символизируют одновременно как пространство этого мира, так и время событий, протекающих в этом пространстве, особенно – "круг событий"» [Степанов 1997: 122]. В качестве иллюстрации, как бы обобщающей эти основанные на этимологических решениях наблюдения, можно привести значения вьетнамской омонимичной группы *trư*, где "жизнь-вращение" в "огороженном пространстве" распадается на *trư* 'жилище, резиденция', *trư* 'пространство и время' и *trư* 'столб, колонна; столп, опора, оплот' (ритуальный центр мира, ось вращения), при этом население "огороженного пространства" соответственно растягивается во времени и развивается в *trư* 'потомки', а защитная семантика сужается в своей референции до *trư* 'шлем, каска' [ВРС 1961: 552].

Рассмотренную схему по ее значению и значимости для структурирования ментального пространства можно было бы назвать "психосемантической матрицей". Сквозь нее "фильтруется" вся новая (а также неопознанная сразу) информация, либо проходя через "врата-чистилище" вопроса-ориентировочного рефлекса и встраиваясь в систему знания, либо оставаясь у ее границ или вытесняясь в неосвоенные слои бессознательного. По нашему мнению, охарактеризованная здесь матрица представляет собой сложный мотивационный комплекс, который, подобно тому, как каждая клетка содержит в себе информацию о строении всего многоклеточного организма, включает в себе все базовые типы семантических связей, отображающихся как в динамике языкового развития, так и в синхронном функционировании языкового знака.

4. ВЕРОЯТНЫЕ ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗАДАННЫХ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ

В нижеследующем изложении мы стремимся придать хотя бы относительно законченный вид вырисовывающейся на фоне ритуализованного поведения схеме эволюции соответствующего фрагмента языковой системы, пытаясь устранить разрыв между биологической обусловленностью клятвы-боевого клича и конвенциональностью языкового знака.

4.1. Рассмотрим некоторые аналогии в звуковом и семантическом строе языка на фоне ритуала. Известно, что артикуляционный аппарат человека способен произвести бесчисленное количество самых разнообразных звуков. Однако в том и заключается специфика языка, что в нем непременно существует фонетическая система, служащая своего рода фильтром и пропускающая только те звукотипы, которые соответствуют строго определенным характеристикам. Сходным образом жизненные ситуации порождают неограниченное количество возможных смысловых сближений и ассоциаций, из которых система отфильтровывает лишь немногие избранные, которые, как явствует из теоретических соображений, могут быть исчислены, хотя, вероятно, и не с такой точностью, как составляющие звуковой строй языка фонемы.

Подобные аналогии, собственно говоря, можно обнаружить между всеми самоорганизующимися системами. Поэтому рассматриваемому случаю вряд ли следует

приписывать отношение только к сугубо специфической идее изоморфизма различных уровней языкового строя. В целом, формальная и содержательная стороны языка могут расцениваться как относительно независимые, но коррелирующие и постоянно влияющие друг на друга системы, или, точнее говоря, подсистемы, объединенные системой более высокого порядка – языком, из которых первая относится к разряду моторных координаций, а вторая – к психической деятельности, и прежде всего, – к категориальному восприятию. Последнее, как достаточно убедительно показывается в [Allott 1994], являясь основой все знаковых процессов и само по себе будучи особым знаковым процессом, все же с самых ранних этапов эволюции шествует нераздельно с моторной деятельностью организма, и, таким образом, язык в целом – как в сфере звукопроизводства, так и в сфере категориального восприятия, составляющего основу семантики – конструируется на базе моторики нервной системы, монтирующей языковую систему из элементов всех уровней строения организма: анатомического, нервного, поведенческого [Allott 1994: 259; ср. также Schnelle 1994: 342]. Иными словами, знак, с точки зрения эволюции семиозиса, может быть охарактеризован как продукт деятельности всего организма, во многом (если не полностью) обусловленный ее структурой⁷. Коммуникативная система же в таком случае может рассматриваться как продукт совокупной деятельности особей или индивидов, т.е. организма социального.

Итак, из сказанного можно заключить, что ограниченность числа типов семантических связей, представленных в языке, филогенетически связана с закономерностями категориального восприятия, которое в свою очередь фильтрует поток информации через "сетку", вытканную структурами моторных реакций и поведенческих программ. То есть в психику пропускается только та информация, на которую филогенетически выработан определенный моторный отклик, и наиболее жизненно значимая часть этой информации, структурированная различными поведенческими схемами, как раз и становится тем психическим материалом, который обобщается в семантике знаковых систем.

Как мы пытались обосновать выше, сердцевину коммуникативных систем в живой природе составляет ритуализованная коммуникация, в которой используются знаки, представляющие собой сублимированные программы, вырабатывающиеся в процессах регулирования внутривидовых отношений. Исходя из этого, можно постулировать, что ритуал (в самом широком понимании этого термина) и есть тот самый "фильтр", структура ячеек которого с одной стороны задает образцы фонетическим системам, и с другой стороны обуславливает типы семантических связей и отношений, которые обнаруживаются как в синхронной, так и в диахронической перспективе наблюдения за языком.

Как вытекает из изложения предыдущих разделов, ритуал – это жестко предписанный порядок, – структура, которая в символической форме отображает иерархическую и пространственно-временную структуры мира социальной единицы, являющейся носителем ритуала. Поэтому приводимые ниже структурные параллели представляются теоретически вполне обоснованными.

4.2. Из психологии и этологии хорошо известно, что всякой социальной группе свойственно стремление к обособлению и противопоставлению себя всем другим группам. Поэтому появление каждой новой группы знаменуется появлением нового ритуала, в чем-то обязательно отличного от ритуала материнской группы. На данном уровне ритуалы могут рассматриваться как аналогичные личным и собственным

⁷ В связи с этим небезынтересны такие взгляды на семиозис, берущие начало в основополагающих трудах Ч. Пирса и широко развиваемые в современной семиотике, которые с одной стороны отождествляют семиозис с ментальными процессами в противоположность физическим [Kull 1992: 222], и с другой – с жизненными процессами вообще [Sebeok 1986: 15; Emmeche 1992: 77; Merrell 1992: 255–257]. Еще более кардинален в своих взглядах В. Кох, в пансемиотической концепции которого семиозис существует на всех уровнях организации материи и начинается с самого момента возникновения космоса [Koch 1986: 54].

именам. Боевой клич – своего рода звуковое знамя, представляющее и символизирующее группу. Другими словами, знак, символизируя группу, и сам ведет себя как группа, т.е. имеет гомологичное ей устройство и те же тенденции к отличию от других знаков. Сущность поведения знака ярко отражена в семантике др.-инд. *várṇa-*, непосредственно семантически связанного с *várati* 'покрывать, защищать, отражать', *vāra-* 'войско, толпа, множество', *vṛti-* 'ограда, забор' и др. Термин *várṇa-* обозначает замкнутую группу людей, строго противопоставленную всему остальному обществу, вплоть до запрета экзогамии. Такая группа по существу непроницаема для членов других групп. Кроме этого, используется он также для обозначения окрова, защитной оболочки. Это, бесспорно, то, посредством чего группа огораживается от внешних воздействий. Еще одно значение – цвет, окраска – подчеркивает обособленность группы на визуальном уровне: все древнеиндийские варны имели свой особый цвет. О том, что подобная особым образом окрашенная защитная оболочка имеет не только опознавательное, но и предостерегающее значение, могут свидетельствовать германские параллели [ср. др.-англ. *wearn* 'отряд, войско, толпа', а также 'сопротивление, оборона' при *wearnian* (совр. англ. *to warn*, нем. *warnen*) 'предостерегать, предупреждать']. В узкоспециальном употреблении древнеиндийских грамматиков термин *varna-* имел значения 'звук', 'слог', т.е. это та же защитная оболочка, но уже со звуковой окраской, отличающей слово от других слов.

Все эти особенности можно обнаружить у любого нарицательного слова, только уже не на собственно семантическом, а на своего рода *пред-семантическом* уровне, промежуточном между формой и содержанием, т.е. на уровне формы существования значения слова. Вполне очевидно, на наш взгляд, что всякое нарицательное слово очерчивает границы некоторого психического пространства, в котором отражен определенный фрагмент внеязыковой реальности, как бы отделенный "защитной оболочкой" слова от остального мира и "заселенный" классом однородных объектов или ситуаций. В этом отношении слово, несомненно, продолжает "боевую" линию ритуала, миллионами лет осуществлявшего функции защиты и группового сплочения посредством своего угрожающе озвученного действия. Эту форму существования значения знака, в сопоставлении с охарактеризованной в 3.9 психосемантической матрицей, можно было бы назвать просто семантической матрицей. Можно добавить и еще одну очевидную деталь: как и для ритуала, для слова имеет первостепенное значение жестко предписанная последовательность исполнения действий, с той лишь разницей, что осуществляться эти действия должны производящим звуки артикуляционным аппаратом.

4.3. Среди работ, затрагивающих проблемы происхождения языка, с точки зрения темы настоящего исследования наибольший интерес представляет статья В.И. Абаева "О происхождении языка" [Абаев 1993], где предлагается схема языковой эволюции, во многих аспектах соответствующих тому, что в нашей концепции закономерно вытекает из специфики естественного функционирования биологического ритуала. Показателен факт, что автор этой примечательной статьи совершенно не оперирует термином "ритуал" и – тем более – не апеллирует к каким-либо данным этологии. Последнее, конечно, приводит его к тому, что противопоставление коммуникативных систем животных и человека строится на базе существенно устаревших критериев, которые имплицитно увязывают рост мыслительных способностей с развитием только звукового языка, явно недооценивая возможности других способов коммуникации. Вследствие этого демаркационная линия иной раз "зашкаливает" туда, где этология выявляет общие для всех социально организованных сообществ элементы знакового поведения. Однако все это не только не умаляет заслуги автора, но, напротив, делает достойным искреннего восхищения тот факт, что благодаря своей глубочайшей интуиции он сумел увидеть то, что, казалось бы, стало возможным разглядеть только после кропотливейших исследований нескольких поколений это-

логов. Семантический уровень, с которого стартует человеческий язык, В.И. Абаев определяет следующим образом: «Вопрос о том, что означали первые слова, решается с большой долей уверенности: они могли быть только названиями социально-производственных групп. Прежде чем стать символами вещей, они были символами нарекающих коллективов. Они были сигналами о принадлежности к определенным, более или менее устойчивым социальным группам. Язык родился не из потребности давать вещам названия, а из потребности относить вещи к своему коллективу, накладывать на них свое "тавро". Первые слова обозначали не предметы, а их отношение, действительное или воображаемое, к коллективу. Наречение было актом своего рода идеологического "присвоения". "Присваивались" не только орудия и продукты, но и такие далекие и недоступные вещи, как небо и солнце» [Абаев 1993: 13]. Из сказанного вытекает, что первые слова обладали способностью соотноситься с любым аспектом мира, принадлежавшего коллективу. То есть "зачатое" в лоне ритуала слово содержало в себе потенции всей будущей языковой системы, и это во многом было обусловлено тем, что слово перенимало биологические значения и функциональные способности ритуала, структурировавшего "космос" коллектива и поддерживавшего его путем "заклинательных" референций в адрес окружающего "хаоса".

4.4. Как у животных, так и у человека, в состоянии аффекта наблюдается резкое снижение мыслительных способностей. Этот факт настолько очевиден, что вряд ли есть нужда его обосновывать. Разумеется, клятва-боевой клич, рождаясь и функционируя в ситуациях порой предельного аффективного накала, плохо увязывается с идеей связи языка и мышления. Однако, вопреки этому, именно клятва по ряду естественных причин, охарактеризованных в 2.3, становится наиболее полноценным "сырьем" для создания конвенционального языкового знака, лучше чем что-либо другое обслуживающего интеллектуальные потребности человека.

В человеческой психике, в чем следует полностью согласиться с [Meyer 1994: 114], не существует ни единого знака, который не был бы окрашен в те или иные эмоциональные тона. Ч. Пирс даже прямо называет эмоцию *знаком*, указывающим на связанные с ней реалии [Peirce 1931, V:308]. Приспосабливая эти справедливые суждения к языку настоящего исследования, эмоцию можно определить как "индикатор жизненной значимости". Клятва, таким образом, с точки зрения эмоций, — наиболее "знакова". Очевидно, что для снятия помех мышлению, создаваемых аффективной знаковостью, эмоция должна быть в достаточной мере подавлена, но без ущерба самой знаковости. Есть все основания полагать, что достигается это за счет явления, сопоставимого с инфляцией денежного знака, которая, как известно, неизбежно приводит к снижению его ценности, значимости.

Попытаемся охарактеризовать "инфляционные" процессы⁸, которые, вероятно, привели первобытные клятвы к эмоционально "обесцененному" состоянию. Начнем с самого очевидного фактора. Думается, всякому из собственного опыта известно, что церемониальность в межличностных отношениях убывает с увеличением степени близости, знакомства, с приобретением совместного жизненного опыта. Исходя из этого, следует полагать, что ритуалы угрожающей демонстрации и умиротворения претерпевают ощутимо более существенную редукцию и снижение аффективного напряжения в кругу "своих", нежели в обстановке взаимодействия с "чужими". Таким образом, одним из самых очевидных факторов, эмоционально обедняющих ритуальный знак, является его многократное повторение, излишнее "тиражирование". Это явление хорошо наблюдается в судьбе так называемых "крылатых" слов и выражений, быстро "изнашивающихся" от неумеренного употребления. Хотя, разумеется, данный фактор и не определяет все необходимые для возникновения языковой си-

⁸ Ср. описание инфляции в [Канетти 1997: 199–205] в связи с проблемами человеческих масс и власти, где вскрывается глубинная взаимообусловленность в протекании социальных и знаковых процессов.

стемы преобразования, все же он является своего рода подготовительной ступенью на пути к абстрагированному от непосредственной аффективной реакции слову языковой системы. Но пока в данном случае мы имеем не более чем два различных варианта-"аллофона" одного и того же знака.

Более решающим для становления системности чисто звукового средства общения оказывается другой тип инфляции, связанный с резким увеличением формально отличных друг от друга клятв, которые, оказавшись на едином социальном пространстве, поневоле были вынуждены делить между собой его смысловые грани. Здесь мы не видим более вероятного пути, чем тот, что обрисовывается ниже.

В.И. Абаев, в упоминавшейся выше статье, приводит набросок начальных этапов языковой эволюции, который, несмотря на отсутствие конкретных решений, касающихся содержательного наполнения слов, все же знаменателен тем, что предполагает процессы групповых контактов как обязательное условие, без которого, по мнению автора, язык никогда бы не возник, с чем мы целиком и полностью согласны. Более того, мы считаем возможным и допустимым с уверенностью говорить о том, что основным естественным условием для формирования языка должен был быть резкий "скачок" в интенсивности межгрупповых взаимодействий, т.е. становление конвенциональности языкового знака не могло осуществляться независимо от сложных процессов слияний и распадов первобытных групп, и, — в соответствии с этим, — усложнение языковой системы должно было прямо пропорционально зависеть от нарастания интенсивности и вовлечения в круг взаимодействия все большего и большего количества различных первобытных коллективов.

Как не раз уже отмечалось выше, ритуальный знак маркирует всю территорию коллектива и соотносится со всеми значимыми аспектами его внешних и внутренних отношений. Таким образом, учитывая естественные функции клятвы, резонно считать, что в отмеченных социальных процессах при слиянии или развитии групп в более сложные социальные образования ритуалы-клятвы обслуживали договоры и маркировали все виды ограничений и привилегий той или иной группы. При этом не менее резонно также считать, что знаки конкурировали вместе со своими носителями, распределяя таким путем зоны референции в общей семантической сфере и образуя своего рода иерархические слои в складывающейся языковой системе, т.е. первичный языковой контекст был в определенной мере изоморфен социальному контексту.

На фоне сказанного складывается следующая картина начальных этапов языковой эволюции. Если на определенной территории регулярно взаимодействует некоторое количество групп, закономерно имеющих свои особые ритуалы, то в складывающемся звуковом средстве общения в языке каждой группы, кроме собственной клятвы, формирующей центр ее коммуникативной системы, должны присутствовать клятвы всех других групп, с которыми данная группа поддерживает те или иные связи. Такое положение вещей диктуется насущной жизненной необходимостью, так как оперирование чужими клятвами, т.е. опознавательными знаками различных групп, самым экономным образом позволяет данной группе ориентироваться практически во всех жизненно важных аспектах окружающего мира. Во-первых, такая "система клятв-боевых кличей" дает четко очерченную, промаркированную соответствующими опознавательными знаками картину пространства, и, таким образом, использование определенной клятвы в надлежащем контексте дает возможность указывать с одной стороны на нужное место, расстояние или на правление, и с другой стороны — на какие-либо специфические особенности рельефа, связанного с местом дислокации соответствующей клятвы-группы. Во-вторых, противопоставление различных клятв дает возможность наилучшим образом ориентироваться в типах отношений (война, мир, союз, господство, подчинение, отношения гостеприимства и т.п.), вследствие чего, соответственно, окружающее пространство оказывается определенным образом иерархизированным. Кроме отмеченных моментов, следует добавить, что использование

чьей-либо клятвы дает возможность указывать на способ существования или поведения (хозяйственный уклад, тактика ведения войны, особые обычаи или религиозные ритуалы и т.п.), а также на особые артефакты, которые закономерно наследуют имя от той группы (= места), где они впервые появились. Вряд ли нужно обосновывать, что все отмеченные способы ориентации в отношении окружающего мира остаются и в настоящее время одними из наиболее важных для обыденного сознания, и что все они так или иначе отражаются в семантических и деривационных связях соответствующей лексики.

Охарактеризованным образом, по нашему мнению, складывается первичная, или предязыковая система, где на фоне общей психосемантической матрицы начинают формироваться особые семантические матрицы, различение которых становится релевантным для их носителя. Но в данном состоянии еще отсутствует надлежашая условность, так как, — хотя и будучи употребляемыми вне контекстов наличных ситуаций, — данные опознавательные знаки пока остаются представителями "живых" клятв.

Следующий необходимый для языковой эволюции этап уже не нуждается в искусственном моделировании, поскольку всюду в наблюдаемой истории человечества просматриваются следы соответствующих социальных процессов, которые со всей очевидностью можно постулировать для всех тех мест и исторических эпох, где обнаруживаются относительно крупные города-государства, осуществляющие контроль над окрестностями. На данном эволюционном этапе должно было произойти резкое разрушение описанных выше исходных параметров, т.е. должно было измениться пространственное положение клятв-групп, типы взаимоотношений между ними и т.д. При этом благодаря инертности человеческой психики, цепляющейся за "золотой век" существования до "вавилонской башни", а также естественному нежеланию расставаться с удобным и привычным средством ориентации, старая система не исчезает, но принципиально трансформируется в том плане, что за ней остаются только чисто конвенциональные семантические связи, отображающие прежние пространственные характеристики, типы отношений, поведения и т.д., в то время как связи с конкретными клятвами и их носителями постепенно уходят в небытие. Вследствие регулярного повторения таких процессов закономерно нарастает количество знаков, приводящее к инфляционному снижению ценности каждого отдельного знака, и более хронологически отдаленные имена собственные переходят при этом в разряд нарицательных имен.

Итак, мы очертили процессы, которые, предположительно, протекали при формировании центра языковой системы. Однако это еще не позволяет говорить о том, что подобные трансформации претерпевали все языковые знаки, равным образом как нельзя говорить и о том, что клятва-боевой клич является единственным звуковым знаком в биологических коммуникативных системах. Все же очевидным нам кажется тот факт, что в первую очередь сформировался именно центр, который по своему образу и подобию достраивал вокруг себя периферийные зоны.

5. СИНОНИМИЧНОСТЬ ПРАИНДООЕВРОПЕЙСКИХ ОМОНИМИЧНЫХ ГРУПП

В данном разделе мы пытаемся оценить, в какой мере древнейшие слои языкового материала соответствуют отраженным выше наблюдениям. В краткой формулировке содержание предыдущих разделов можно непротиворечиво обобщить в виде следующих тезисов:

1. Ритуальный знак (клятва), маркирующий территорию первобытного коллектива, символизирующий его внутреннюю сплоченность и обороняющий его от внешнего мира, — амбивалентен (энантиосемичен) и "всереферентен", т.е., — взятый в перспективе языкового развития, — потенциально чуть ли не бесконечно многозначен.

2. Ритуальные символы разных групп эквивалентны не нарицательным, а собственным именам, но в плане функционального соотношения с различными аспектами реальности изначально являются синонимами.

3. Учитывая естественные процессы дробления и слияния социальных групп, следует ожидать, что на начальных этапах языкового развития "ядро" языковой системы должно было состоять из такого числа знаков, которое было пропорционально количеству коллективов, взаимодействующих на определенном жизненном пространстве. Иными словами, в протоязыке закономерно должно было присутствовать довольно изрядное количество "энантиосемично-многозначных" синонимов, из чего со всей очевидностью вытекает, что одни группы омонимичных корней в праязыковых реконструкциях должны обнаруживать синонимию с другими группами не по отдельным значениям, а должны быть сопоставимы друг с другом в целом по основным семантическим параметрам. То есть там, где мы находим форму с разветвленной омонимией, следует ожидать, что значения этой формы будут в основном соответствовать значениям других подобных форм.

5.1. В целях верификации данных тезисов мы произвели по материалам словаря Ю. Покорного [Рокоту 1959] подсчет всех случаев омонимии и попытались классифицировать ее по некоторым формальным и семантическим параметрам. При этом формальный анализ первоначально не входил в наши намерения. Однако, когда мы вступили в более или менее тесный контакт с материалом, стало очевидно, что одна определенная формальная особенность является, на наш взгляд, весьма иллюстративной (хотя и в значительной мере гипотетической и спорной) в плане подтверждения предлагаемой в настоящем исследовании гипотезы.

Приведем краткий отчет о произведенном анализе. Всего в словаре Ю. Покорного мы насчитали 2183 отдельных статьи. На этом фоне омонимия выглядит следующим образом. 781 статья посвящена 268 формам, что дает приблизительно по три рассматриваемых в основном независимо друг от друга значения на каждую из этих форм. Таким образом, 36% (781 от 2183) единиц словаря праиндоевропейской реконструкции представлены как находящиеся в отношениях омонимии, или – по другим параметрам – 16% (268 от 1670) реконструированных форм наделяются двумя и более значениями, которые составитель словаря предпочел разместить по разным статьям.

Уже при поверхностном обзоре словаря бросается в глаза непропорционально высокое количество сонантов в омонимичных формах при буквально подавляющем их доминировании в исходе корня. Подобного рода явления наблюдаются не только в омонимии, но и на протяжении всего словаря, о чем красноречиво говорят подсчеты Ж. Жюкуа, который зафиксировал 67,5% исходов корня на сонант [Juquois 1966]. Но в случаях разветвленной омонимии эта особенность структуры корня просто не может остаться незамеченной, особенно, когда в исходе стоят *-r* или *-l*.

Если вслед за Ж. Жюкуа ограничить все обнаруживающие омонимию формы в соответствии с канонической по Э. Бенвенисту структурой корневой морфемы не более чем двумя согласными звуками, т.е. структурными формулами VC, CV и CVC, где C любой согласный, а V любой гласный, то общее отношение сонантов к шумным и сибиланту (без учета "беглого" *s*) составит 845 к 624, или 57,52% к 42,48%. Если учесть, что в фонетической системе праязыка общее количество сонантов относится ко всем другим согласным фонемам как 6 к 16 (без учета ларингальных), или как 27,27% к 72,73%, то в среднем нагрузка на один сонант в 3,61 раза выше, чем в среднем на один согласный иного качества. Однако при учете позиции согласного в начале или в конце корня канонической структуры это отношение существенно трансформируется: в начальной позиции оно становится 253 к 431, или 36,99% к 63,01% (нагрузка на сонант в среднем выше в 1,57 раза), в конечной – 592 к 103, или 85,18% к 14,82% (нагрузка на сонант выше в 15,33 раза).

5.2. В предварительных наблюдениях явно бросалось в глаза, что в самых различных группах омонимичных корней с удивительным постоянством встречаются очень похожие наборы значений. Поэтому в ходе семантического анализа мы попытались выявить основные семантические темы, на противопоставлении которых выстраивается чуть ли не вся праиндоевропейская омонимия. Эти темы удобнее всего представлять, следуя терминологии Л. Заде, в виде "нечетких множеств" (fuzzy sets),

как некоторые "пучки семантических признаков", структурно аналогичные тем признакам, которые очерчивают диалекты. Здесь также можно использовать близкое к этому понятие группировки (clustering), где представители естественных категорий группируются внутри категориального пространства "на определенной дистанции от прототипа, т.е. от категориального среднего" [Демьянков 1994: 33]. Такое представление является в данном случае наиболее приемлемым, так как установить четкие семантические параметры, которые позволяли бы определять степень синонимичности сопоставляемых значений, оказалось по ряду объективных причин невозможным. Это прежде всего сопряжено с довольно частым отсутствием однозначного семантического соответствия между самими лексическими единицами, возводимыми к тому или иному этимону, что в свою очередь закономерно приводит к абстрактной расплывчатости в формулировках значений соответствующих этимонов. Однако, мы все же надеемся, что хотя бы в самом грубом приближении нам удалось отразить общее положение дел в словаре, так как единственный критерий, на основании которого выкраивались границы перечисляемых ниже семантических тем – это то, что мы стремились описывать их, пользуясь только теми смыслами, которые в достаточной мере регулярно объединяет сам же автор при описании значения того или иного этимона. Таким образом, мы постарались, насколько это оказалось возможным, произвести подсчет встречаемости тех или иных значений, ограничившись омонимичными группами от 4 значений и более.

Перечислим темы с порядком встречаемости не менее чем у 15% различных омонимичных групп по мере убывания величины процента. Указываемая в скобках приближительность величины процента обусловлена тем, что семантика, заключенная в выделяемых границах, нередко их "нарушает" и имеет свойство неуловимо перетекать из одной темы в другую.

1) бить, колоть, рубить, резать, драть, рвать, ранить, рыть, царапать и т.п. (около 60%).

2) вертеть(ся), гнуть(ся), наклонять, прислонять, связывать, плести, ткать и т.п. (50–60%).

3) рычать, реветь, мычать, ворчать, гудеть, кричать, говорить, звать и т.п. (около 55%).

4) беречь, хранить, покрывать, окутывать, защищать, обороняться, поддерживать, помогать, покровительствовать и т.п. (40–50%).

5) сильно желать, требовать, добиваться, захватывать, грабить, гнать, преследовать (30–35%).

6) обманывать, лгать, быть хитрым, коварным, извращенным, поврежденным или испорченным (о человеке или о вещи) (25–30%).

7) внимательно наблюдать, думать, понимать, быть осторожным (около 25%).

8) цветообозначение в основном неопределенных тонов: серый, темный, черный, красный, бурый, светлый, белый и т.п. (около 25%).

9) расти(ть), увеличивать(ся), набухать, всходить, возникать (около 20%).

10) бревно, жердь, столб, палка, копье и т.п. (около 20%).

11) гореть, блестеть, сверкать; светлый, сияющий и т.п. (около 20%).

12) возвышенное место (17–20%).

13) течь, литься, водный поток; кропить, разбрызгивать (15–18%).

14) усердно трудиться, стараться, делать, действовать (13–15%).

15) расширять; широкий, далекий (12–14%).

Эти значения, на наш взгляд, являют собой нечто вроде "среднего арифметического" семантики индоевропейских омонимов по словарю Ю. Покорного. В их рамки, в зависимости от степени строгости сопоставления, можно уместить от 60 до 90% семантики омонимов, насчитывающих свыше трех значений. Характерно, что приведенная статистика, особенно в пунктах 1 и 2, совпадает с наблюдениями М.М. Маковского, постулирующего для слов, зарождающихся в русле ритуальной деятельности, первоначение 'рвать, гнуть'. По нашему мнению, причина преоб-

ладания значений, входящих в первые три темы, заключается в том, что сами подобные значения исходно выступали в роли форм для выражения связанных с ними ситуаций, жизненные смыслы которых как раз и отражаются в других темах, — особенно с четвертой по седьмую. Нетрудно заметить, что эти три типа реалий вырисовывают на фоне прототипического взаимодействия наиболее ярко окрашенную аффектом знаковую фигуру, т.е. на переднем плане общей ментальной репрезентации находятся угрожающий звуковой сигнал, имитация удара или сам удар и, видимо, определенные элементы "изворотливости", ловкости. Звуковой язык, приняв на себя роль "метазнаковой" системы, закономерно кодирует как сами невербальные знаки вместе с их денотатами, так и их сигнификативные значения, которые представлены начиная с четвертого пункта. Таким образом в отношениях между первыми тремя темами и рядом остальных допустимо видеть естественное отражение в одном знаке двух различных содержательных планов, рассмотренных нами выше (см. 1.3–1.4).

5.3. У нас явно недостает места для детального разбора отношений между выявленными значениями. Поэтому ограничимся лишь кратким обзором одного случая. Для большей наглядности остановимся на примере, который почерпнут не из реконструкций, а из хорошо известного, досконально изученного и описанного языка.

Различные контекстуальные реализации уже упоминавшегося выше лат. *agere* довольно наглядно демонстрируют, как в рамках употребления одного слова могут выражаться смыслы, характерные для ведущих по частотности тем праиндоевропейской омонимии. Этот глагол, помимо своего основного употребления в значении 'гнать, вести' (тема 5), мог использоваться в значениях, типичных для темы 1 (например, *sublicas agere* 'вбивать, вколачивать кол (столб, сваю)', *in crucem agere* 'распирать, пригвождать к кресту' и т.п.), для темы 3 (*sedentes agamus* 'сядем и поговорим', *laudes agere* 'прославлять' и т.п.), а такие употребления, как *morem agere* 'соблюдать обычай', *pacem agere* 'поддерживать мир, жить в мире, соблюдать условия мирного договора', *vigilias agere* 'нести караульную службу', *satis agere* 'быть озабоченным, встревоженным, беспокоиться', характерны для лексики, на базе которой исследователи реконструируют семантику тем 4 и 7.

О том, что подобные контекстуально обусловленные значения способны создавать базу для деривации, как раз свидетельствуют латинские дериваты от корня *ag-*. Например, *agināre* фиксирует значение 'вертеться, изворачиваться' (тема 2), а некоторые отпричастные образования выводят на передний план семантику действия, деятельности: *acta* 'действия, деяния', *activus* 'действенный, деятельный', *actitāre* '(часто) делать, исполнять' (тема 14). Глагол *āio* 'подтверждаю, утверждаю, заверяю', также возводимый к форме **ag-* [Бенвенист 1995: 391], как видно, зафиксировал в своем значении семантику третьей темы. Эти факты, на наш взгляд, иллюстрируют, как наиболее значимые для носителя языка контекстуальные употребления многозначного слова оформляются в самостоятельные слова.

В латинском языке от корня *ag-* можно встретить только два первичных именных образования: *agmen* 'отряд, войско (в походе); вереница, толпа, стая' и *ager* 'земля, земельный надел, пашня'. В первой деривации явно зафиксировалось имя деятеля, осуществляющего действие *agere*. И весьма показательно, что это имя — прототипично и ритуально. Оно обозначает не индивида, а целостный коллектив. Возможно, что в другом деривате — *ager* — зафиксировалось представление о принадлежащей *agmen*'у и контролируемой им территории. Обозначение одним именем и места обитания, и его населения — одна из самых очевидных констант человеческой культуры. Но в данном случае не менее вероятно и то, что *ager* возникло уже без акцентирования связи с населением на базе употреблений типа *limitem agere* 'проводить межу, границу'. Но и при таком варианте выбор базы для новой номинации не может считаться случайным. Для этого был избран корень *ag-* по той причине, что он

соотносился с действиями активной обороны и агрессии, а эти действия в реальной жизни чаще всего рождаются на границах, и, как мы пытались показать выше (см. 3.7), на глубинном уровне психики они сливаются с границей в одном вращающемся круге, что в свою очередь и отразилось в *agināre* 'вертеться, изворачиваться', переработавшем все разнонаправленные движения и действия в единоеобразное вращение. В конечном счете и *ager* 'территория', и *agināre* 'вертеться' вполне гармонируют с реализациями *agere* в значении 'жить'. И подобные сочетания смыслов – одна из констант, регулярно встречающихся в той лексике, на базе которой реконструирована праиндоевропейская омонимия. Итак, независимо от того, когда и какими путями осуществились рассмотренные деривации от лат. *ag-*, все они, на наш взгляд, были вызваны к жизни единым комплексом прототипических представлений, составляющим основу вращения человеческой психики.

Суммируя рассмотренные факты, мы непроизвольно приходим к убеждению, что если бы нам удалось заглянуть в живой праиндоевропейский язык, то на месте большинства существующих в реконструкции омонимичных групп обнаружили бы подобные лат. *agere* единые глаголы с широким кругом референции, а также окружающие их дериваты, акцентирующие те или иные предметные или непредметные зоны этого круга.

При общем ретроспективном направлении сравнительно-исторического метода для восстановления этимона мы располагаем разрозненно зафиксированными во времени и пространстве данными из множества разошедшихся в своем развитии языков. При этом мы преимущественно отдаем приоритет древним памятникам, где нередко фиксируются далеко не все обыденные употребления слова. Например, в хеттских памятниках мы имеем больше шансов обнаружить специальные религиозные или правовые значения типа *agere* 'обвинять', но меньше шансов найти употребления типа *agere* 'жить'. Но даже там, где факты освещены достаточно полно, мы ориентируемся только на основные значения, оставляя в стороне периферийные по понятным причинам, так как приходится и без того оперировать со множеством сопоставляемых слов. Однако основные значения имеют свойство далеко расходиться, тогда как на периферии очень часто остается много общего. В итоге подобные искусственно упрощенные операции и приводят к тому, что этимоны типа 'гнать', 'защищать', 'говорить', 'вертеться' и т.п. реконструируются как омонимы, в то время как на ранних этапах функционирования языка они вполне могли быть контекстуально обусловленными конкретизациями более общего и сложного содержания.

5.4. Ниже посредством древнеиндийских рефлексов и.-е. **cer-* мы попытаемся показать, как лексика, традиционно возводимая к разным омонимичным этимонам, может свободно объединять в своей семантике те же реалии, которые мы могли видеть выше в употреблениях лат. *agere* и других производных того же корня.

Такие факты, как *vāraṇi* 'покрывает, окружает, прячет; отражает, предотвращает, сдерживает, подавляет', *vṛt-* 'запретный, окруженный; множество', *vṛti-* 'ограда, забор', *vṛā-* 'толпа, множество', *vāra-* 'толпа, сборище, множество', на базе защитной семантики маркируют место обитания и его население. Имя *vāra-*, попадая в конечную позицию сложного слова, приобретает значение 'отпор, отражение' (ср. англос. *wearn* 'толпа, войско, отряд' и 'отпор, отражение'), а также, помимо упомянутых значений, имеет и особые контекстуальные реализации, обозначая такие понятия как 'богатство, сокровище, ряд, раз, день недели, назначенный срок', в чем, очевидно, имплицированы представления об упорядоченном вращении. Очень похоже, что в *vārjati* 'поворачивает, отвращает, срывает, отстраняет, отбрасывает' отражено развитие представленной в *var-* более общей защитно-оборонительной семантики в сторону ее конкретизации, сужения фокуса внимания на действиях отражения и отбрасывания противника. В имени *vṛjāna-* 'ограда, граница; область; община, население, народ' вновь возникает связь "сосуда" и его "содержимого", но уже в несколько расширенных масштабах. Производные основы *vart-* на базе семантики вращения, уже довольно

существенно абстрагированной от прототипических представлений, развивают предельно генерализованные понятия, охватывающие весь жизненный путь и способы существования (ср. *vārtate* 'вертится, существует, проживает; случается', *vṛttā-* 'деятельность, поведение; случай, событие', *vṛtti-* 'поворот; поведение, деятельность, работа; нрав, привычка, образ мыслей; средства к существованию', *vartani-* 'колея, путь, дорога'). Сходное развитие наблюдается и в термине *vratā-* 'закон, воля, приказ; обряд, ритуал, обет; соблюдение обета, привычка, образ жизни', который связывается исследователями с др.-прусск. *wertemmai* 'клянемся' и др. В семантике данного термина, как видно, акцентируется религиозно-правовой аспект существования.

Особого типа отношения можно видеть в связях слов, маркирующих с одной стороны "ограниченное, замкнутое пространство", с другой – "расширенное, свободное пространство". Г. Грассман не без оснований считает, что семантика таких слов, как *vāras-* 'широта, простор', *vāriyas-* 'пространство, счастье, покой' исходно мотивирована защитной семантикой основы *var-* [Grassman 1936: 1218]. Косвенным свидетельством этому могут служить факты, занимающие как бы промежуточное положение между семантикой ограниченного и свободного пространства: *vāriman-* 'круг, объем, простор, даль' и *urū-* 'широкий, далекий, просторный; нестесненный, свободный, безопасный, надежный'. В деривации от *urū-* к *urusyāti* 'ищет безопасное пространство, скрывается, ускользает, избегает; защищает, оберегает, спасает' наблюдается возврат к исходным защитным мотивам. Есть все основания предполагать, что подобного рода отношения базируются как на имевшем место реальном расширении-завоевании свободного и безопасного жизненного пространства, так и на отмеченных в 2.3 психических эффектах, отражение которых, кроме затронутых фактов, можно видеть также в древнеиндийских рефлексах того же и.-е. **uer-*: *vārdhan/vārdhate* (<**uer-dh-*) 'поднимать дух, вдохновлять; расти, усиливаться', *vṛdh-* 'радостный, веселый; увеличивающийся, усиливающийся', *vṛddhi-* 'рост, увеличение; счастье, успех', *vārdhana-* 'подкрепляющий, приносящий удачу; помощь, успех, рост, усиление', *vṛdhā-* 'покровитель, помощь, поощрение, поклонение; радующий(ся)'.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, как показывают рассмотренные факты, в основе коммуникативных систем, возникших на разных ступенях эволюции, лежит общий системообразующий принцип. В области семантики он формирует единое концептуальное ядро, в способах выражения которого соревнуются различные типы знаковых форм. И в этом соревновании закономерно преуспевает самый энергетически экономный способ, формирующий особую систему, состоящую из сгармонизированных звуковых комплексов-слов. Однако можно с достаточной уверенностью говорить о том, что в период своего становления звуковой язык был, как ребенок, беспомощен без сопровождения более старших знаковых систем, умудренных многомиллионным опытом функционирования. Боевой клич – звуковое знамя первобытной группы – символизировал группу и весь ее защищаемый и благоустраиваемый мир. Таким образом, еще входя в языковую коммуникативную систему, он обладал потенциями, давшими развившемуся из него слову способность к соотносению с любым значимым аспектом реальности. Как вытекает из рассмотренной концепции В.И. Абаева, первые слова, освобождаясь от ситуативно обусловленного аффекта боевого клича, соотносились с предметным окружением по типу местоимений и прилагательных, маркируя элементы мира по признаку принадлежности к той или иной группе. В глагольном же употреблении конкретность значения могла быть достигнута только путем дополнительного указания на соответствующую фазу взаимодействия. Поэтому первичная языковая система для того, чтобы хоть частично освободиться от исходно тотальной зависимости от своего биологического родителя – сложной системы, состоявшей из

звуковых сигналов, поз, жестов и мимики, – должна была пройти длительную стадию преодоления референтной неопределенности слова. И этот качественный прорыв мог произойти только при достаточном увеличении количества слов, чего не могло случиться без возрастания интенсивности межгрупповых взаимодействий. Итак, учитывая сказанное, можно заключить, что первые слова, долгое время являясь вне контекста "глобальными" знаками, в употреблении могли реализовывать как общие, так и конкретные значения, подобно тому, как в употреблении лат. *agere* контекст способен создать и конкретное значение типа 'бить' или 'говорить', и самое что ни на есть общее – 'жить'.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В.И. 1986 – Как можно улучшить этимологические словари // *Этимология* – 1984. М., 1986.
- Абаев В.И. 1993 – О происхождении языка // *Язык в океане языков*. Новосибирск, 1993.
- Бенвенист Э. 1995 – Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.
- ВРС 1961 – Вьетнамско-русский словарь / Под ред. И.М. Ошанина и Ву Данг Ата. М., 1961.
- Демьянков В.З. 1994 – Теория прототипов в семантике и прагматике языка // *Структуры представления знаний в языке*. М., 1994.
- Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н. 1997 – О ведийской загадке типа *brahmodya* // *Из работ Московского семиотического круга*. М., 1997.
- Канетти Э. 1997 – Масса и власть. М., 1997.
- Кочергина В.А. 1996 – Санскритско-русский словарь. М., 1996.
- Лоренц К. 1998а – Так называемое зло // Лоренц К. *Оборотная сторона зеркала*. М., 1998.
- Лоренц К. 1998б – Оборотная сторона зеркала // Лоренц К. *Оборотная сторона зеркала*. М., 1998.
- Маковский М.М. 1996а – Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. М., 1996.
- Маковский М.М. 1996б – Язык – Миф – Культура. Символы жизни и жизнь символов. М., 1996.
- Маковский М.М. 2000 – Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М., 2000.
- Малиновский Б. 1998 – Магия. Наука. Религия. М., 1998.
- Монич Ю.В. 1998 – Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий // ВЯ. 1998. № 1.
- Степанов Ю.С. 1966 – Основы языкознания. М., 1966.
- Степанов Ю.С. 1971 – Семиотика. М., 1971.
- Степанов Ю.С. 1997 – Словарь русской культуры. М., 1997.
- Степанов Ю.С. 1998 – Язык и метод. М., 1998.
- Токарев С.А. 1990 – Ранние формы религии. М., 1990.
- Толстая С.М. 1995 – Магия обмана и чуда в народной культуре // *Логический анализ языка: Истина и истинность в культуре и языке*. М., 1995.
- Топоров В.Н. 1988 – О ритуале. Введение в проблематику // *Архаичный ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках*. М., 1988.
- Топоров В.Н. 1997 – О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией "мирового дерева" // *Из работ Московского семиотического круга*. М., 1997.
- Тэрнер В. 1983 – Символ и ритуал. М., 1983.
- Фасмер М. 1996 – Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1996.
- Хейзинга Й. 1992 – *Homo ludens*. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Черных П.Я. 1994 – Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1–2. М., 1994.
- Allott R. 1994 – Languages and the origin of semiosis // *Origins of semiosis*. Berlin; New York, 1994.
- Berlin B., Kay P. 1969 – Basic color terms. Their universality and evolution. Berkeley; Los Angeles, 1969.
- Csányi V. 1992 – The brain's models and communication // *Biosemiotics*. Berlin; New York, 1992.
- Emmeche C. 1992 – Modeling life: a note on the semiotics of emergence and computation in artificial and natural living systems // *Biosemiotics*. Berlin; New York, 1992.

- Grassman H. 1936 – Wörterbuch zum Rig-Veda. Leipzig, 1936.
- Jacquois G. 1966 – La structure des racines en indoeuropéen envisagée d'un point de vue statistique // Linguistic research in Belgium. Wetteren, 1966.
- Koch W.A. 1986 – Evolutionary cultural semiotics. Bochum, 1986.
- Kuiper F.B.J. 1960 – The ancient Aryan verbal contest // Indo-Aryan journal. IV. № 4. 1960.
- Kull K. 1992 – Evolution and semiotics // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Merrell F. 1992 – As signs grow, so life goes // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Meyer P. 1994 – The problem of certainty in human communication: An evolutionary view // Origins of semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Nöth W. 1994 – Opposition at the roots of semiosis // Origins of semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Peirce C.S. 1931 – Collected papers of Charles Sanders Peirce. V. 1–8. Cambridge, 1931–1958.
- Pokorny J. 1959 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1–2. Bern; München, 1959–1965.
- Preuschoft S., Preuschoft H. 1994 – Primate nonverbal communication. Our communicative heritage // Origins of Semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Schnelle H. 1994 – Language and brain // Origins of semiosis. Berlin; New York, 1994.
- Sebeok T.A. 1986 – I think I am a verb. New York, 1986.
- Sharov A. 1992 – Biosemiotics: A functional-evolutionary approach to the analysis of the sense of information // Biosemiotics. Berlin; New York, 1992.
- Stjernfelt F. 1992 – Categorical perception as a general prerequisite to the formation of signs? On the biological range of a deep semiotic problem in Hjelmslev's as well as Peirce's semiotics // Bio-semiotics. Berlin; New York, 1992.
- Zadeh L.A. 1965 – Fuzzy sets // Information and control. V. 8. 1965.